



Оноре де Бальзак

Лилия долины



Перевод с французского
Елизаветы Шишмаревой

ФТМ



Оноре Бальзак
Лилия долины

«ФТМ»

1836

Бальзак О. д.

Лилия долины / О. д. Бальзак — «ФТМ», 1836

«Лилия долины» написана в жанре романа-исповеди. Несмотря на симпатии к дворянству, Бальзак показал г-на Морсофа ограниченным и неумным, никчемным человеком, взбалмошным эгоистом. Он писал: «Очень трудно было написать эту фигуру, но теперь она наконец создана. Я воздвиг статую эмиграции, я собрал в этом человеке все особенности вернувшегося в свои поместья эмигранта».

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	43
-----------------------------------	----

Оноре де Бальзак Лилия долины

Члену Королевской Академии медицинских Наук Ж.-Б. Накару¹.

Дорогой доктор, вот один из наиболее тщательно отделанных камней фундамента, на котором медленно и старательно возводится литературное здание²; мне хочется начертать на нем ваше имя отчасти для того, чтобы отблагодарить ученого, некогда спасшего мне жизнь, отчасти для того, чтобы оказать внимание близкому другу.

Де Бальзак.

Графине Натали де Манервиль.

«Я покоряюсь твоему желанию. Женщина, которую мы любим больше, чем она любит нас, обладает огромным преимуществом, ибо мы то и дело забываем ради нее о здравом смысле. Мы готовы преодолеть непреодолимые расстояния, отдать свою кровь, пожертвовать будущим, лишь бы не видеть, как хмурится ее лоб, лишь бы изгладить недовольную гримаску, в которую складываются ее губы при малейшем противоречии. Сегодня ты захотела узнать мое прошлое. Выслушай же повесть о нем. Только помни, Натали, повинувшись тебе, я впервые преступил тайный запрет своего сердца. Но зачем тебе вздумалось разгадывать, любимая, что кроется за внезапной задумчивостью, в которую я впадаю порой даже в самые счастливые минуты? Зачем ты так мило гневалась из-за моего невольного молчания? Неужели ты не могла примириться со странностями моего характера, не доискиваясь их причины? Или у тебя на сердце лежит тайна и для своего оправдания тебе надо было постигнуть тайну моей жизни? Словом, ты разгадала ее, Натали, и, пожалуй, будет лучше, если ты узнаешь все. Да, над моей жизнью витает призрак; малейший отзвук пережитого вызывает его из далекого прошлого, а иногда он и сам встает передо мной. В глубине моей души погребены неотступные воспоминания, схожие с теми водорослями, что в тихую погоду глаз различает на дне морском, но в бурю волны, обрывая их, выбрасывают на прибрежный песок. Хотя труд, необходимый, чтобы облечь мысли словами, и заглушил эти давние чувства, которые, внезапно пробуждаясь, причиняют мне такую острую боль, боюсь, как бы мое чистосердечное признание не оскорбило тебя. Вспомни тогда, что я повиновался твоей воле под угрозой разрыва, и не карай меня за послушание. Мне хотелось бы, чтобы эта исповедь удвоила твою нежность. До вечера.

Феликс».

Какому скорбному таланту суждено создать трогательную элегию, верную картину мук, перенесенных в молчании еще не огрубевшими душами, которые встречают лишь тернии в семейном кругу, чьи нежные ростки обрывают грубые руки, чьи цветы губит мороз раньше, чем они успеют раскрыться? Какой поэт расскажет нам о страданиях ребенка, вскормленного горьким молоком ненависти, чья улыбка застывает на губах под огнем сурового взора? Вымышленная повесть о несчастных детях, которых угнетают те, кто самой природой предназначен развивать их чуткие сердца, была бы подлинной историей моих юных лет. Кого мог я оскорбить, чью гордость задеть при рождении? Каким физическим или духовным недостатком вызвал я холодность матери? Чему я обязан своим появлением

на свет? Чувствую ли долга родителей или случаю, а быть может, сама жизнь моя была для отца с матерью укором? Кто мне ответит на это? Не успел я родиться, как меня отправили в деревню и отдали на воспитание кормилице; семья не вспоминала о моем существовании в течение трех лет; вернувшись же в отчий дом, я был таким несчастным и заброшенным, что вызывал невольное сострадание окружающих. Я не встретил ни искреннего участия, ни помощи, которые помогли бы мне оправиться после этих первых невзгод: в детстве счастье было мне неведомо, в юности – недоступно. Вместо того, чтобы облегчить мою участь, брат и обе сестры забавлялись, причиняя мне боль. Негласный союз детей, которые скрывают от взрослых свои шалости и, заступаясь друг за друга, познают чувство чести и товарищества, не существовал для меня; напротив, я часто видел, что меня наказывают за проступки брата, хоть и не смел жаловаться на несправедливость. Было ли тут дело в угодливости, свойственной даже детям, но только брат и сестры участвовали в этих преследованиях, стараясь заслужить одобрение нашей суровой матери. А быть может, на злые выходки их толкала склонность к подражанию? Или желание испробовать свои силы? Или же отсутствие жалости? Не знаю. Вернее, все эти причины, вместе взятые, помешали мне изведать прелесть детской дружбы. Лишенный с пеленок всякой привязанности, я никого не мог полюбить, а ведь природа наделила меня любящим сердцем! Слышат ли ангелы вздохи ребенка, чью нежность грубо попирают взрослые? Есть люди, у которых отвергнутые чувства обращаются в ненависть, но у меня они накопились, стали еще сильнее и, вырвавшись на волю, захлестнули впоследствии всю мою жизнь. У иных натур постоянные обиды поражают нервные волокна, вызывая робость, а робость неизменно ведет к уступчивости, к слабости, которая принижает человека, сообщая ему что-то рабское. Во мне же постоянные невзгоды укрепили силу воли, закалили ее в горниле испытаний, подготовив мою душу к борьбе с судьбой. Вечно ожидая новых невзгод по примеру мучеников, ожидавших новых истязаний, я всем своим видом олицетворял унылую покорность, под которой пряталась детская резвость и непосредственность; меня считали поэтому глупым ребенком, что подтверждало в глазах посторонних мрачные предсказания моей матери. Сознание людской несправедливости преждевременно пробудило в моей душе гордость – плод размышлений – и не позволило развиваться дурным наклонностям, которым могло лишь способствовать полученное мною воспитание. Хотя мать и пренебрегала мною, я вызывал иногда у нее укоры совести; порой она говорила о необходимости дать мне образование и выражала намерение сама заняться им; но при мысли о муках, какие мне сулило постоянное общение с ней, дрожь ужаса пробегала по моему телу. Я благословлял свою заброшенность и был счастлив, что могу оставаться один в саду, играть камешками, наблюдать за насекомыми и смотреть на голубой небосвод. Одиночество обычно порождает мечтательность, но любовь к созерцанию вызвал во мне случай, который покажет вам, каковы были горести первых лет моей жизни. Обо мне так мало заботились, что гувернантка подчас забывала уложить меня спать. Как-то вечером, спокойно примостившись под фиговым деревом, я смотрел с чисто детским любопытством на яркую звезду, и под наплывом печальных мыслей мне чудился в ее мерцании проблеск дружеского участия. Сестры играли и кричали вдалеке; поднятый ими шум долетал до меня, не нарушая моих размышлений. Но вот все стихло, наступила ночь. Мать случайно заметила мое отсутствие. Желая избежать упреков, грозная мадемуазель Каролина, наша гувернантка, подтвердила опасения матери, заявив, что я ненавижу бывать дома, что без ее бдительного надзора я бы давно сбежал, что я не глуп, но скрытен и хитер, что среди всех детей, которых ей приходилось воспитывать, не было ни одного с такими дурными наклонностями. Гувернантка притворилась, будто ищет меня, и стала звать, я откликнулся; она подошла к фиговому дереву, заранее зная, что я там.

– Ты что тут делаешь? – спросила она.

– Смотрю на звезду.

– Ты не смотрел на звезду, это неправда, – проговорила мать, наблюдавшая за нами с балкона, – разве в твоём возрасте интересуются астрономией?!

– Ах, сударыня, – воскликнула мадемуазель Каролина, – он оставил открытым кран от фонтана – вода залила весь сад.

Поднялась страшная суматоха. Дело в том, что мои сестры, забавляясь, открывали и закрывали кран, чтобы посмотреть, как течет вода, но когда сильная струя неожиданно обдала их с головы до ног, они растерялись и убежали, так и не завернув крана. Меня обвинили в этой шалости, а когда я стал уверять, что я тут ни при чем, мне сказали, будто я лгу, и строго наказали. Но это еще не все: в довершение несчастья меня жестоко высмеяли за любовь к звездам, и мать запретила мне оставаться в саду по вечерам. Деспотические запреты сильнее обостряют желания у детей, чем у взрослых; дети начинают думать только о запретном плоде, и он влечет их неудержимо. Итак, меня часто наказывали розгами за мою звезду. Мне некому было излить свои горести, и я продолжал верить их звезде на том прелестном и наивном языке, на котором ребенок выражает свои первые мысли, как некогда он лепетал свои первые слова. В двенадцать лет, в коллеже, я все еще любовался своей звездой, испытывая неизъяснимую радость, столь глубоки бывают впечатления, полученные на заре жизни.

Мой брат Шарль, на пять лет старше меня, был таким же красивым ребенком, каким он стал впоследствии красавцем-мужчиной; он был любимцем отца и матери, надеждой семьи, а следовательно, домашним тираном. Хотя он отличался крепким здоровьем и был хорошо сложен, его воспитывали дома и наняли ему наставника. Меня же, слабенького и хилого, поместили пяти лет экстерном в городской пансион; каждое утро камердинер отца сопровождал меня туда, а вечером приводил обратно. Мне давали с собой корзиночку со скудными припасами, тогда как мои одноклассники приносили всевозможные лакомства. Этот контраст между моей бедностью и их богатством послужил для меня источником бесчисленных терзаний. Прославленные турецкие блюда – ломтики жареной свинины и золотистые шкварки – составляли обычную трапезу учеников между утренним завтраком и обедом, который ждал нас по возвращении домой. Эти кушанья, столь ценимые гурманами, редко появляются в Туре на столе аристократов; если я и слышал о них до поступления в пансион, то дома мне никогда не намазывали на хлеб аппетитные золотистые шкварки; не будь они в таком фаворе среди учеников пансиона, мое страстное желание попробовать их не уменьшилось бы; оно стало чем-то вроде навязчивой идеи, подобно желанию одной изящнейшей парижской герцогини, мечтавшей отведать рагу, состряпанного привратницей; впрочем, как истая женщина, она добилась своего. Дети так же хорошо угадывают во взгляде голод, как вы читаете в нем любовь; поэтому я стал превосходной мишенью насмешек. Мои одноклассники, принадлежавшие по большей части к мелкой буржуазии, показывали мне жареные ломтики свинины, спрашивая, не знаю ли я, как ее готовят, где она продается и почему у меня нет с собой ничего вкусного? Они облизывали губы, расхваливая на все лады свиные шкварки, похожие на хрустящие трюфели; они шарили в моей корзинке и, обнаружив в ней лишь кусок сыра из Оливэ или сухие фрукты, приставали ко мне с вопросом: «Так, значит, тебе не на что купить еду?» – который показал мне, какая пропасть лежит между мной и братом. Контраст между моей отверженностью и счастьем других омрачил дни моего детства и набросил тень на мою цветущую юность. В первый раз, когда, поверив щедрости приятеля, я протянул руку, чтобы взять лицемерно предложенную тартинку, мой мучитель быстро отдернул руку с лакомством под хохот посвященных в проделку товарищей. Но если даже самые возвышенные души поддаются тщеславию, как не оправдать ребенка, который плачет, видя, что его презирают, высмеивают? Сколько детей, попав в мое положение, стали бы лакомками, попрошайками, трусишками! Чтобы избежать преследований, я начал драться. Смелость отчаяния придавала мне силы; теперь меня боялись и ненавидели, но я оставался

безоружным против подлости. Как-то вечером, возвращаясь из школы, я почувствовал сильный удар в спину: в меня запустили пригоршней камней, завязанных в тряпку. Когда камердинер, жестоко отомстивший за меня, рассказал о случившемся матери, она воскликнула:

– Этот проклятый мальчишка вечно доставляет нам одни неприятности!

Для меня наступило ужасное время, я потерял всякую веру в себя. Заметив, что я внушаю в школе такое же отвращение, как дома, я окончательно отдалился от сверстников. Так началась для меня вторая волна морозов, задержавшая всходы семян, посеянных в моей душе. Я видел, что дети, пользовавшиеся любовью, были отъявленными плутами; моя гордость нашла опору в этом наблюдении, и я замкнулся в себе. Итак, мне по-прежнему некому было излить чувства, переполнявшие мое бедное сердце. Видя меня постоянно грустным, нелюдимым, одиноким, учитель подтвердил предвзятое мнение родителей о моих якобы дурных наклонностях. Как только я научился читать и писать, мать отправила меня в Понле-Вуа в коллеж конгрегации ораторианцев³; там меня определили на отделение, называемое «Начальная латынь», где учились также мальчики с запоздалым развитием, неспособные усвоить даже простейших знаний. Я пробыл в коллеже восемь лет, никого не видя из родных и живя как пария. И вот почему. Я получал всего-навсего три франка в месяц на мелкие расходы, а этой суммы едва хватало на перья, перочинный нож, линейку, чернила и бумагу, которые ученики должны были приобретать сами. Я не мог купить ни ходуль, ни мяча, ни каната с узлами, словом, ни одного из предметов, необходимых для развлечения, и оказался изгнанным из всех школьных игр: чтобы получить к ним доступ, мне пришлось бы льстить сынкам богатых родителей или подлизываться к силачам из моего класса. Но все восставало во мне при мысли об этом унижении, хотя другие дети не останавливались перед такой малостью. Я проводил свободное от занятий время под деревом, углубившись в грустные мысли, или читал книги, которые мы брали раз в месяц у библиотекаря. Сколько страданий таило в себе это противоестественное одиночество! Какую тоску порождала моя заброшенность! Подумайте, что должна была испытать нежная душа ребенка при распределении наград, тем более, что я заслужил две первые награды – за перевод с французского на латынь и с латыни на французский! Когда среди приветственных возгласов и звуков духового оркестра я поднялся на сцену, чтобы получить награды, ни отец, ни мать не поздравили меня, они просто не приехали, а между тем в зале собрались родные всех остальных учеников. Вместо того, чтобы, следуя обычаю, поцеловать учителя, раздающего награды, я бросился к нему на грудь и разрыдался. Вечером я сжег в печке полученные мною венки. Родители учеников обычно оставались в городе всю неделю перед раздачей наград, таким образом, мои товарищи радостно покидали школу каждое утро. А я, хотя мои родители жили всего в нескольких лье от города, проводил время на школьном дворе вместе с «заморскими учениками» – так называли мы детей, семьи которых находились в колониях или в чужих краях. По вечерам, возвращаясь к молитве, счастливики безжалостно хвастались лакомствами, которыми их угощали родители. И так бывало со мной всегда: по мере расширения социальной сферы, в которую я вступал, увеличивались и мои невзгоды. Сколько сил я потратил, чтобы изменить приговор старших, вынуждавший меня жить, словно улитка в раковине! Сколько надежд, которые я лелеял с неукротимыми душевными порывами, было развеяно за один день! Напрасно умолял я родителей приехать ко мне в школу, напрасно писал им послания, исполненные любви и преданности, правда, несколько высокопарные. Эти письма неизменно вызывали лишь упреки матери, насмешливо критиковавшей мой витиеватый стиль. Однако я не падал духом, обещая выполнить любые условия родителей, только бы они навестили меня; я просил похлопотать за меня сестер, которым аккуратно посылал поздравления

³ *Ораторианцы* – религиозные общества, основанные в Западной Европе в XVI веке, получившие свое название от ораторий – молитвенных домов. Ораторианцы пытались приспособить науку и философию к целям пропаганды католицизма.

ко дню ангела и ко дню рождения. Увы, настойчивость несчастного, заброшенного ребенка оставалась тщетной! С приближением дня раздачи наград я стал еще красноречивее, заговорил о торжестве, которое, по-видимому, выпадет на мою долю. Введенный в заблуждение молчанием родителей, я ждал их, горя нетерпением, и даже объявил об их приезде товарищам; мое сердце болезненно сжималось всякий раз, когда по прибытии гостей во дворе раздавались шаги старого привратника, но он так и не выкрикнул моего имени.

Однажды я сознался на исповеди, что совершил тяжкий грех, ибо проклял свою жизнь; в ответ духовник указал мне на небо, напомнив о награде, обещанной Спасителем в одной из заповедей блаженства: «*Beati qui lugent!*»⁴. Готовясь к первому причастию, я всей душой предался глубокому таинству молитвы, так пленили меня религиозные идеи, духовная поэзия которых покоряет юные умы. Воодушевленный горячей верой, я молил господа бога еще раз совершить ради меня одно из чудес, о которых читал в мартирологе. В пять лет я устремился в заоблачные выси к своей звезде, в двенадцать стучался у врат алтаря. Среди охватившего меня мистического экстаза расцвели несказанные грезы, которые обогатили мое воображение, обострили чуткость и дали толчок мысли. Я часто думал, что эти видения ниспосланы мне ангелами, которым поручено облагородить мою душу для ожидающего меня высокого призвания. Это они наделили меня способностью проникать в сокровенный смысл вещей и подготовили сердце к чудесной и горестной доле поэта, обладающего роковым даром сравнивать то, что он чувствует, с тем, что есть, сопоставлять свои великие замыслы с ничтожностью достигнутого. Это они написали для меня книгу, в которой я мысленно мог прочесть то, что мне надлежало выразить. Это они прикоснулись горящим углем к моим устам, и я обрел дар красноречия.

Мой отец, недовольный обучением в школах монашеских конгрегаций, взял меня из коллежа Пон-ле-Вуа, чтобы поместить в парижское учебное заведение, находившееся в Марэ. Мне было тогда пятнадцать лет. После вступительных экзаменов ученик класса риторики коллежа Пон-ле-Вуа был допущен в третий класс пансиона Лепитра. Страдания, которые я испытал в семье, в школе и коллеже, приняли в этом пансионе новую форму. Отец не давал мне карманных денег. Родители знали, что я сыт, одет, напичкан латынью и греческим, а до остального им не было дела. За время моего пребывания в закрытых учебных заведениях у меня было около тысячи однокашников, но ни к одному из них родители не относились так холодно, так равнодушно, как мои родители относились ко мне. Г-н Лепитр, человек, самозабвенно преданный Бурбонам, поддерживал дружеские отношения с моим отцом еще в тот период, когда ярые роялисты пытались похитить королеву Марию-Антуанетту из тюрьмы Тамплъ⁵; теперь старые друзья возобновили знакомство, и г-н Лепитр решил исправить упущение моего отца; но он выдавал мне ежемесячно очень скромную сумму, так как не был осведомлен о намерениях моих родителей. Пансион помещался в старинном отеле Жуайез, где имелась швейцарская, как и во всех старинных аристократических домах. Перед тем как отправиться в лицей Карла Великого, куда нас ежедневно водил дядька, сынки богатых родителей забегали позавтракать к нашему привратнику Дуази, настоящему контрабандисту, перед которым заискивали все учащиеся, так как тайком от г-на Лепитра он потакал нашим похождениям, покрывал нас, когда мы поздно возвращались в пансион, и служил посредником между нами и лицами, дававшими напрокат запрещенные книги. Выпить чашку кофе с молоком было признаком аристократического тона, и это понятно, так как при Наполеоне

⁴ Блаженны плачущие (лат.).

⁵ ...пытались похитить королеву Марию-Антуанетту из тюрьмы Тамплъ. — В результате народного восстания 10 августа 1792 года Людовик XVI был низложен, королевская семья была заключена в тюрьму Тамплъ. После казни Людовика XVI (21 января 1793 года) роялистами делались неоднократные попытки устроить побег Марии-Антуанетты; она была казнена 16 октября 1793 года.

колониальные продукты стоили непомерно дорого⁶. Если употребление сахара и кофе считалось роскошью у наших родителей, то среди нас оно вызывало чувство тщеславного превосходства, вполне достаточное, чтобы пристраститься к этому напитку, помимо других побудительных причин, вроде склонности к подражанию, чревоугодия и моды. Дуази отпускал продукты в кредит, считая, что у каждого из нас найдутся сестры или тетки, готовые постоять за честь учеников и с радостью оплатить их долги. Я долго противился соблазнам буфета Дуази. Если бы мои судьи знали о силе искушения, о моем героическом стремлении к стоицизму, о подавленных приступах ярости во время длительной борьбы с собой, они осушили бы мои слезы вместо того, чтобы наказывать меня. Разве может ребенок, каким я еще был тогда, обладать душевным величием, которое дает силу презирать презрение окружающих! Кроме того, влияние социальных пороков еще усиливало мои аппетиты. В конце второго учебного года отец с матерью приехали в Париж. О дне их прибытия мне сообщил брат; он жил в Париже, но ни разу не удосужился меня навестить. Сестры тоже принимали участие в поездке, и мы должны были осмотреть Париж всей семьей. В первый день предполагалось пообедать в ресторане у Пале-Руаяля⁷, а потом отправиться в находившийся поблизости театр Французской комедии. Программа этих неожиданных развлечений привела меня в восторг, но мою радость развеяла та буря, которую неизменно навлекают на себя пасынки судьбы. Мне предстояло сознаться, что я задолжал сто франков г-ну Дуази, угрожавшему потребовать эти деньги у моих родителей. Я придумал тогда обратиться к брату: пусть он ведет переговоры с Дуази, пусть будет моим посредником и заступником перед родителями. Отец был склонен к снисходительности. Но мать оказалась неумолимой. Гневный взгляд ее темно-голубых глаз пронзил меня насквозь, она изрекла ужасные пророчества: разве из меня выйдет что-нибудь путное, если в семнадцать лет я способен на такие безрассудства? Я выродок, а не ее сын! И, конечно, разорю всю семью! Разве, кроме меня, у нее нет детей? Разве карьера моего брата Шарля не требует денег? Но он заслужил эти траты, он гордость семьи, я же покрою ее позором! По моей милости у сестер не будет приданого, и они останутся старыми девами! Неужели я не знаю цены деньгам и не понимаю, как дорого стоит мое воспитание! Какое отношение к наукам имеют сахар и кофе? Вести себя так может лишь негодяй! Марат просто ангел по сравнению со мной!

После того, как на меня обрушился этот поток жалоб и проклятий, вселивший в мою душу безмерный ужас, брат отвел меня обратно в пансион; я лишился обеда в ресторане «Братья Провансальцы» и не увидел Тальма в «Британнике». Такова была моя встреча с матерью после двенадцатилетней разлуки.

Когда я окончил классическую среднюю школу, отец оставил меня под опекой г-на Лепитра: мне предстояло пройти курс высшей математики и приступить к изучению права. Я был наконец освобожден от уроков в пансионе и получил отдельную комнату; казалось, в моих несчастьях наступила передышка. Но, несмотря на то, что мне было девятнадцать лет, а может быть, именно поэтому, отец продолжал придерживаться системы, лишившей меня съестных припасов в школе, мелких развлечений в коллеже и вынудившей брать в долг у Дуази в пансионе. У меня почти не было денег. А что делать в Париже без денег? К тому же мою свободу сумели искусно ограничить. По приказанию г-на Лепитра ко мне был приставлен дядька, который провожал меня в Юридическую школу и сдавал с рук на руки тамошнему преподавателю, а вечером приводил обратно. Молоденькую девушку и ту охраняли бы менее тщательно. Но что поделаешь, эти предосторожности были внушены матери

⁶ ...при Наполеоне колониальные продукты стоили непомерно дорого. – В 1806 году Наполеон I объявил о полной блокаде Англии (политика континентальной блокады). Англия в ответ на это установила контроль над французской морской торговлей. Это привело к резкому подорожанию колониальных товаров во Франции.

⁷ Пале-Руаяль – дворец в Париже, построенный в начале XVII века; во времена Бальзака там помещались игорные дома, увеселительные заведения, кафе, модные магазины. Пале-Руаяль был местом любовных свиданий.

опасениями за мою особу и желанием уберечь меня от соблазнов. Париж недаром страшил моих родителей. Ведь все юноши тайне заняты тем же, чем и барышни в пансионах! Что бы вы ни делали, одни будут говорить о женщинах, а другие о кавалерах. В те времена в Париже все разговоры учащихся вертелись вокруг сказочно-прекрасного мира Пале-Руаяля. В наших глазах Пале-Руаяль был Эльдорадо любви, где по вечерам рекой лилось золото. Там можно было положить конец девственным сомнениям, удовлетворить разгоревшееся любопытство! Но Пале-Руаяль и я были двумя полюсами: мы никак не могли встретиться. Вот как судьба посмеялась над всеми моими попытками. Отец представил меня одной из своих теток, жившей на острове св. Людовика; я ходил к ней обедать по четвергам и воскресеньям под охраной г-на Лепитра или его жены, которые в эти дни бывали в гостях и по возвращении забирали меня домой. Странное это было развлечение! Маркизе де Листомэр, церемонной великосветской даме, ни разу даже в голову не пришло подарить мне золотой. Старая, как собор, раскрашенная, как миниатюра, всегда пышно одетая, она жила в своем особняке, словно во времена Людовика XV, и принимала лишь знатных стариков и старух, похожих на выходцев с того света, среди которых я чувствовал себя, как на кладбище. Никто не обращался ко мне, я же не смел заговаривать первым. Под враждебными или холодными взглядами окружающих я стыдился своей молодости, которая, казалось, всем была в тягость. На их безразличие я и рассчитывал для успеха своей затеи, собираясь незаметно скрыться в один прекрасный день по окончании обеда, чтобы стрелою полететь в Деревянную галерею Пале-Руаяля. Стоило старой даме усесться за вист, как она переставала обращать на меня внимание, а ее камердинеру Жану было наплевать и на меня и на г-на Лепитра, но, к моему огорчению, злосчастный обед неизменно затягивался по вине беззубых ртов и несовершенства вставных челюстей. Наконец как-то вечером, между восемью и девятью часами, я выскользнул на лестницу, трепеща, словно Бьянка Капелло⁸ в день своего побега; но едва швейцар распахнул передо мной дверь, как я увидел на улице наемный экипаж, а в нем г-на Лепитра, который просил вызвать меня, с трудом выговаривая слова от одышки. Рок трижды вставал между адом Пале-Руаяля и раем моей юности. Наконец в двадцать лет, стыдясь своего неведения, я решил пренебречь любой опасностью, лишь бы покончить с ним; в ту минуту, когда я собирался улизнуть от г-на Лепитра, садившегося в экипаж, – что давалось ему с трудом, ибо он хромал и был тучен, как Людовик XVIII, – подъехала, словно назло, моя мать в почтовой карете! Ее взгляд приковал меня к месту, и я замер, как кролик перед удавом. Какой случайности был я обязан этой встрече? Все объяснялось весьма просто. В то время владычество Наполеона подходило к концу. Отец, предвидя возвращение Бурбонов, хотел дать добрый совет моему брату, который уже числился на дипломатической службе императора. Он приехал в Париж вместе с матерью, решившей забрать меня домой: надо же было уберечь младшего сына от опасностей, которые угрожали столице, по мнению проницательных людей, следивших за ходом событий. Итак, не успев опомниться, я очутился вне Парижа в тот самый момент, когда пребывание там становилось для меня опасным.

Еще в пансионе мое беспокойное воображение, желания, которые то и дело приходилось обуздывать, тяготы жизни, омраченной вечным безденежьем, побудили меня отдаться наукам по примеру тех, кто, разочаровавшись в жизни, уходил некогда в монастырь. Учение стало моей страстью, которая могла оказаться гибельной, отгородив меня от мира в ту пору, когда молодым людям надлежит следовать волшебному голосу пробуждающейся в них весны.

Этот беглый очерк моей юности, которая таила в себе, как вы легко можете догадаться, тысячи невысказанных элегий, был необходим, чтобы понять, какое влияние она оказала на

⁸ *Бьянка Капелло* – дочь венецианского патриция, убежавшая из дома со своим возлюбленным; впоследствии жена герцога Франциско Медичи (XVI век).

мое будущее. Удрученный своей горькой участью, я и в двадцать лет был мал ростом, худ и бледен. Моя душа, исполненная бурных порывов, боролась с хилым на вид телом, в котором, по выражению одного пожилого турецкого врача, выковывался железный темперамент. Ребенок телом и старец умом, я столько читал и размышлял, что успел мысленно проникнуть в горние сферы жизни, когда впервые заметил, как извилисты ее ущелья и пыльны дороги ее равнин. Стечение злосчастных обстоятельств задержало мое развитие, и я все еще пребывал в той восхитительной поре, когда душа объята первым волнением чувств, когда она пробуждается для наслаждений, когда все для нее ново и свежо. Мое отрочество затянулось, а усиленные занятия задержали наступление зрелости, которая лишь с опозданием давала о себе знать, пуская нежные ростки в моем сердце. Ни один юноша не был лучше подготовлен, чем я, к страсти, к любви. Чтобы вам легче было понять меня, перенеситесь мысленно в тот чудесный период жизни, когда уста еще не знают лжи, когда взгляд чистосердечен, хотя глаза и прикрыты ресницами от робости, которая борется в вашей душе с пробудившимся желанием, когда разум не хочет подчиняться лицемерию света, когда смятение чувств так же велико, как и бескорыстие первого побуждения.

Не стану вам рассказывать о путешествии, которое мы совершили с матерью из Парижа в Тур. Холодность ее подавляла всякое проявление чувства с моей стороны. На каждой почтовой станции я давал себе клятву поговорить с ней; но достаточно было одного ее взгляда, одного слова, чтобы тщательно обдуманная фраза улетучилась у меня из головы. В Орлеане, перед тем как лечь спать, мать упрекнула меня за молчание. Я бросился к ее ногам, принялся целовать ее колени, проливая горячие слезы; я открыл ей свое исполненное нежности сердце, попытался тронуть ее красноречием, подсказанным жаждой любви, причем моя искренность могла бы разжалобить даже мачеху. Но мать возразила, что я разыгрываю комедию. Я пожаловался на ее пренебрежение ко мне, она назвала меня недостойным сыном. Я испытал такую душевную боль, что в Блуа побегал на мост, чтобы броситься в Луару. Моему самоубийству помешала только высота парапета.

Когда я вернулся в отчий дом, две младшие сестры, совсем не знавшие меня, были скорее удивлены, чем обрадованы; однако позднее по сравнению с матерью они показались мне даже ласковыми. Мне отвели комнатку на четвертом этаже. Вы поймете глубину моих терзаний, узнав, что мать не дала мне, двадцатилетнему юноше, другого белья, кроме того, что я носил в пансионе, и не обновила моего парижского гардероба. Если вечером в гостиной я со всех ног кидался, чтобы поднять ее упавший платок, она роняла в ответ лишь холодное спасибо, которым женщина обычно благодарит лакея. Я стал наблюдать за ней, чтобы узнать, есть ли в ее сердце уязвимое место – мне так хотелось проникнуть туда, чтобы раздуть хотя бы маленькую искорку нежности, – и я увидел перед собой высокую, сухопарую женщину, надменную эгоистку, завязную картежницу, дерзкую на язык, как и все представительницы семейства Листомэров, у которых дерзость считается одной из статей приданого. В жизни она не ценила ничего, кроме долга, – впрочем, все холодные женщины, которых мне приходилось встречать, неукоснительно выполняли свой долг, – и принимала наши знаки внимания с безразличием священника, вдыхающего во время обедни запах ладана; по-видимому, все скудные материнские чувства, жившие в глубине ее сердца, достались на долю моего старшего брата. Она постоянно терзала нас едкой иронией – этим оружием бессердечных людей, – пользуясь им против собственных детей, которые ничего не смели ей возразить. Несмотря на эту колючую преграду, врожденные чувства коренятся так глубоко, трепетный страх, внушаемый матерью, в которой нам слишком тяжело разочароваться, сохраняет такую власть над душой, что возвышенная иллюзия, подсказанная детской любовью, продолжается обычно до того более позднего часа жизни, когда мать предстает наконец перед нашим беспощадным судом. И тогда начинается возмездие детей; их равнодушные, порожденное былыми разочарованиями, усугубленное картинами прошлого, которые

всплывают из темных глубин памяти, бросает тень даже на материнскую могилу. Жестокий домашний деспотизм развеял сладострастные грезы, которые я безрассудно мечтал осуществить в Туре. С отчаяния я заперся в отцовской библиотеке и принялся читать подряд все неизвестные мне книги. Правда, этот усидчивый труд избавил меня от общества матери, но ухудшил мое душевное состояние. Иногда старшая сестра, вышедшая впоследствии замуж за нашего кузена, маркиза де Листомэра, пыталась утешить меня, но она была не в силах смягчить глухой гнев, kloкотавший в моей груди. Мне хотелось умереть.

В то время готовились великие события⁹, которым я был чужд. Герцог Ангулемский¹⁰, покинув Бордо, отправился в Париж к Людовику XVIII, и в каждом городе, через который он проезжал, старая Франция встречала его бурными овациями, восторженно приветствуя возвращение законной династии Бурбонов. Турень, охваченная радостным волнением; наш город, жужжавший, как улей; окна, украшенные флагами; нарядно одетые жители; приготовления к празднеству; какое-то пьянящее веселье, разлитое в воздухе, – все это внушило мне желание пойти на предстоящий городской бал в честь герцога Ангулемского. Когда я осмелился выразить это желание матери, которая захворала и не могла отправиться на праздник, она сильно разгневалась на меня. Откуда я взялся, уж не из Конго ли приехал? Неужели я в самом деле вообразил, что наше семейство не будет представлено на этом балу? Когда отец и брат отсутствуют, кому же идти на бал, как не мне? Разве у меня нет матери? Неужели она не заботится о счастье своих детей? И во мгновение ока отверженный сын стал чуть ли не важной персоной. Я был совершенно потрясен и собственным значением и потоком колкостей, которыми мать встретила мою смиренную просьбу. Я стал расспрашивать сестер и узнал, что мать, любившая всякие эффекты, втайне занялась моим костюмом. Удивленные ее причудами, турецкие портные отказались взяться за мою экипировку. Тогда мать позвала приходящую портниху, которая, как оно и подобает в провинции, умела шить все что угодно. Худо ли, хорошо ли, она смастерила для меня костюм василькового цвета; пару шелковых чулок и бальные башмаки достать было нетрудно; в то время носили очень короткие жилеты, и мне пришлось впору один из жилетов отца; впервые в жизни я надел рубашку с жабо, гофрированные складки которого топорщились на груди и набегали на завязанный бантом галстук. Принарядившись таким образом, я стал так непохож на себя, что сестры осыпали меня комплиментами, и, набравшись мужества, я храбро предстал перед турецким обществом. Нелегкая задача! Здесь было много призванных и очень мало избранных. Благодаря своему небольшому росту, я проскользнул в шатер, воздвигнутый в саду при доме Папийон, и очутился рядом с креслом, в котором восседал герцог. От духоты у меня перехватило дыхание, я был ослеплен ярким светом, пурпурным бархатом драпировок, золотом украшений, нарядами и бриллиантами дам на этом первом общественном торжестве, где мне довелось присутствовать. Меня теснили со всех сторон мужчины и женщины, которые толкались, чуть не падали в облаке пыли. Крики «ура» и возгласы: «Да здравствует герцог Ангулемский! Да здравствует король! Да здравствует династия Бурбонов!» – заглушали звон литавр и бравурные звуки военного оркестра. То была вспышка верноподданнических чувств, где каждый старался превзойти самого себя в неудержимом порыве навстречу восходящему солнцу Бурбонов; но при виде этого проявления корыстных интересов я остался холоден, проникся сознанием своего ничтожества и замкнулся в себе.

Уносимый, как соломинка, в этом водовороте, я испытал детское желание быть герцогом Ангулемским, приблизиться к высокопоставленным лицам, красовавшимся перед изумленными зрителями. Эта наивная мечта провинциала пробудила во мне честолюбие, кото-

⁹ ...готовились великие события – то есть реставрация Бурбонов 6 апреля 1814 года. После отречения Наполеона Сенат призвал на французский престол брата казненного короля Людовика XVI, принявшего имя Людовика XVIII.

¹⁰ Герцог Ангулемский – племянник Людовика XVIII.

рое было облагорожено впоследствии, пройдя через горнило испытаний. Кому не случалось завидовать преклонению толпы? Это грандиозное зрелище я увидел несколько месяцев спустя, когда весь Париж приветствовал императора, вернувшегося с острова Эльбы¹¹. Власть Наполеона над массами, чувства и жизнь которых сливаются порой в одну общую душу, внезапно открыла мне, в чем состоит мое призвание, и я решил безраздельно посвятить себя славе – богине, губящей в наши дни французов так же, как в прежние времена друиды¹² губили галлов. Здесь же на балу я неожиданно встретил женщину, которой суждено было беспрестанно поощрять мои честолюбивые мечты и наконец осуществить их, ибо она приблизила меня к королю и бросила в гущу исторических событий. Я был так робок, что не смел пригласить на танцы даму, да к тому же боялся спутать фигуры; вот почему я невольно впал в мрачную задумчивость и совершенно не знал, что делать с собственной особой. В ту минуту, когда я задыхался в тесноте, топчась среди густой толпы приглашенных, какой-то офицер отдал мне ноги, распухшие от жары в тесной кожаной обуви. Эта последняя неприятность переполнила чашу моего терпения, и мне окончательно опротивело празднество. Уйти, однако, было невозможно; я приютился в углу зала на краю пустого диванчика и застыл в неподвижности, уныло устремив глаза в одну точку. Какая-то женщина, введенная в заблуждение моей хрупкой фигурой, очевидно, приняла меня за ребенка, дремавшего в ожидании, когда мать соблаговолит увезти его отсюда, и опустила на сиденье рядом со мной, как птичка садится в гнездышко. Я тотчас же ощутил ее аромат, и он слился в моем представлении со всем, что есть самого прекрасного в восточной поэзии. Я взглянул на свою соседку и был ослеплен ею, она затмила для меня блестящий праздник и стала отныне в моих глазах олицетворением праздника жизни. Если вы внимательно следили за перипетиями моей юности, то без труда поймете, какие чувства забили ключом в моем сердце. Меня внезапно поразили ее белые округлые плечи, к которым мне так захотелось приникнуть, слегка розоватые плечи, точно красневшие от стыда, что люди видят их обнаженными, целомудренные плечи, атласная кожа которых матово блестела при свете люстр, как шелковая ткань. Эти плечи были разделены ложбинкой, вдоль которой украдкой скользнул мой взгляд, более смелый, нежели рука. Я привстал, трепеща от волнения, чтобы увидеть корсаж этой женщины, и был зачарован ее грудью, стыдливо прикрытой светло-голубым газом, сквозь который все же просвечивали два совершенных по форме полушария, уютно покоившиеся среди волн кружев. Мельчайшие черточки ее облика служили приманкой для глаз, пробуждая во мне бесчисленные желания; я залюбовался блеском ее волос, заколотых над шеей бархатистой, как у девочки, белыми полосками, прочерченными гребнем, по которым мое воображение устремлялось, словно по свежим лесным тропинкам, и окончательно потерял голову. Убедившись, что никто меня не видит, я прильнул к ее обнаженной спине, как ребенок, который бросается на грудь матери, и покрыл поцелуями ее плечи, прижимаясь к ним лбом, щеками, головой. Женщина пронзительно вскрикнула, но музыка заглушила ее крик; она обернулась, увидела меня и сказала:

– Сударь!..

Стоило ей сказать: «Вы с ума сошли, противный мальчишка!» – и, быть может, я убил бы ее; но при слове «сударь» горячие слезы хлынули у меня из глаз. Я оцепенел под ее взглядом, исполненным священного гнева, при виде ее неземного лица с диадемой пепельных волос, так гармонировавших с этими плечами, словно созданными для поцелуев. Краска оскорбленной стыдливости залила ее лицо, выражение которого тут же смягчилось, ибо женщина понимает и оправдывает безумство, если сама является его причиной, и угадывает без-

¹¹ ...императора, вернувшегося с острова Эльбы. – 26 февраля 1815 года Наполеон бежал с острова Эльбы и высадился на южном берегу Франции.

¹² Друиды – жрецы у древних кельтов (галлов).

границную любовь, скрытую в слезах раскаяния. Она удалилась поступью королевы. Только тогда я почувствовал всю смехотворность своего положения; только тогда понял, что одет, как шут. Мне стало стыдно за себя. Я сидел ошеломленный, смакуя сладость только что украденного плода, ощущая на губах теплоту ее тела, и провожал взглядом эту богиню, словно сошедшую с небес. Охваченный первым чувственным приступом великой сердечной лихорадки, я пробродил весь вечер среди бала, ставшего для меня безлюдным, но так и не нашел своей незнакомки. Я вернулся домой преображенный.

Новая душа, душа с радужными крыльями, пробудилась во мне, разбив свою оболочку. Моя далекая звезда спустилась с голубых просторов, где я любовался ею, и приняла облик женщины, сохранив свою чистоту, свой блеск и свою свежесть. Я неожиданно полюбил, ничего не зная о любви. Какая странная вещь – первое пробуждение этого сильнейшего в человеке чувства. Я встречал в гостиной маркизы де Листомэр несколько хорошеньких женщин, но ни одна из них не произвела на меня ни малейшего впечатления. Быть может, должен наступить определенный час, произойти совпадение светил, небывалое стечение обстоятельств и встретиться единственная женщина в мире, чтобы вызвать всепоглощающую страсть в ту пору жизни, когда страсть может целиком захватить человека! Полагая, что моя избранница живет в Турени, я с наслаждением вдыхал воздух и находил, что небо здесь такое голубое, какого не встретишь нигде в другом месте. Если я и ликовал в душе, то внешне казался больным, и мать стала беспокоиться обо мне, испытывая некоторые угрызения совести. Подобно животным, которые чуют приближение болезни, я уединялся в уголке сада, чтобы помечтать об украденном поцелуе.

Прошло несколько дней после этого памятного бала. Мать приписала переходному возрасту мою кажущуюся мрачность, мою лень, мое безразличие к ее суровым взглядам и равнодушие к насмешкам. Лучшим средством вывести меня из состояния апатии было признано пребывание в деревне – извечное лекарство от тех болезней, которые медицина не умеет лечить. Мать решила послать меня на несколько дней в замок Фрапель, расположенный на Эндре, между Монбазоном и Азе-ле-Ридо, где я должен был погостить у ее друзей, которым она дала, по-видимому, тайные указания. В тот день, когда я вырвался на свободу, я с таким упоением предавался сладостным грезам, что из конца в конец пересек необозримый океан любви. Я не знал имени своей незнакомки. Как про нее спросить? Где найти? К тому же мне не с кем было говорить о ней. Моя застенчивость только усиливала смутные опасения, свойственные юным сердцам в начале любви, и мое чувство зарождалось среди тихой печали, которой бывает овевана безнадежная страсть. Я готов был ходить, искать, бродить по полям и лесам. С детской решимостью, чуждой всяких сомнений, я собирался обойти пешком, как странствующий рыцарь, все замки Турени, восклицая при виде каждой живописной башенки: «Вот где она живет!»

Итак, в четверг утром я выбрался из Тура через заставу Сент-Элуа, прошел по мосту Сен-Совер, пересек Понше, всматриваясь в каждый дом этого селения, и вышел на шинонскую дорогу. Впервые в жизни я мог остановиться, посидеть под деревом, замедлить или ускорить шаг, словом, поступать, как мне вздумается, без всяких назойливых вопросов. Первое проявление собственной воли, пусть даже в мелочах, благотворно повлияло на душу бедного мальчика, угнетенного деспотической властью взрослых, которая так или иначе тяготеет над всеми юными существами. Много причин содействовало тому, что этот день остался у меня в памяти как волшебное видение. В детстве во время прогулок я не уходил дальше, чем на одно лье от города. Окрестности Пон-ле-Вуа и Парижа не избаловали меня красотой сельских пейзажей. Однако у меня сохранилось с детских лет чувство прекрасного, так как виды Тура, с которыми я сроднился с колыбели, поистине хороши. Ничего не понимая в поэзии природы, я все же был требователен к ней, по примеру тех, кто, не зная искусства, заранее создает себе его идеал. Если пеший или конный путник захочет поскорее добраться

до замка Фрапель, ему следует свернуть в Шампи на проселочную дорогу и пересечь ланды Карла Великого – нетронутые земли, расположенные на плоскогорье, которое служит водоразделом между бассейнами Шера и Эндра. Плоские песчаные ланды, наводящие на вас тоску в продолжение целого лье пути, заканчиваются небольшой рощей, а за ней начинается дорога в Саше – название округа, к которому принадлежит и Фрапель. Эта дорога, выходящая на шинонское шоссе далеко за пределами Баллана, идет по волнистой местности вплоть до живописного края под названием Артанна. Здесь открывается вид на долину, которая тянется от Монбазона до Луары, словно вздымая старинные замки на окружающих ее холмах; она походит на прекрасную изумрудную чашу, на дне которой змеится Эндр. После безрадостных ланд, после трудностей долгого пути вид этой долины вызвал во мне чувство глубокого восхищения.

«Если эта женщина, подлинная жемчужина среди ей подобных, живет где-нибудь на земле, то это может быть только здесь», – подумал я.

При этой мысли я прислонился к стволу орехового дерева, под которым отдыхаю теперь всякий раз, как возвращаюсь в мою милую долину. Под этим деревом – поверенным моих дум – я мысленно перебираю перемены, происшедшие в моей жизни с тех пор, как я уехал отсюда. «Она» жила здесь, сердце не обмануло меня: первый красивый замок, который я увидел на склоне холма, принадлежал ей. Когда я сидел в тени моего дерева, черепицы на ее крыше и стекла в ее окнах сверкали под лучами полуденного солнца. Пятнышко, белевшее среди виноградников под персиковым деревом, была она сама в перкалевом платье. Как вы уже знаете, еще ничего не зная, она была *лилией этой долины*, где аромат ее добродетелей возносился, как фимиам, в небеса. Все говорило здесь о любви, которая заполонила мое сердце, не имея иной пищи, кроме мимолетного женского образа: и длинная лента реки, сверкающая на солнце меж зеленых берегов; и ряды тополей, обрамляющих кружевом своей шелестящей листвы этот дол любви; и темная зелень дубрав, спускающихся вдоль виноградников к изменчивому течению реки; и уходящая в беспредельность мягкая линия горизонта. Если вы хотите видеть природу во всей ее девственной красоте, словно невесту в подвенечном платье, приезжайте сюда в светлый весенний день; если вы хотите успокоить боль раны, кровоточащей в сердце, возвращайтесь сюда в конце осени; весной любовь бьет здесь крылами среди небесной лазури; осенью здесь вспоминаешь о тех, кого уже нет с нами. Больные вдыхают здесь полной грудью целительную свежесть, глаз покоится на золотистых купках деревьев, наполняющих душу сладостным покоем. В ту минуту шум мельниц, стоящих на порогах реки, казался мне трепетным голосом этой долины, тополя радостно раскачивались на ветру, небо было безоблачно, птицы пели, кузнечики стрекотали, все кругом сливалось в дивную гармонию. Не спрашивайте меня, почему я люблю Турень; моя любовь к этому краю не похожа на любовь, которую питаешь к месту, где ты родился, или к оазису в пустыне; я люблю ее, как художник любит свое искусство; я люблю ее меньше, чем вас, но вдали от Турени я бы, вероятно, умер. Не знаю, почему мой взгляд беспрестанно возвращался к белому пятнышку, к этой женщине, оживлявшей вид обширного сада, словно хрупкий колокольчик, расцветший среди зеленых кустов, который вянет от первого неловкого прикосновения. Я спустился умиленный, растроганный в глубину цветущей долины и вскоре увидел деревню, которая показалась мне неповторимо прекрасной благодаря поэзии, переполнявшей мое сердце. Вообразите три мельницы, стоящие меж живописных лесистых островков посреди «речной лужайки»; трудно назвать иначе сочную, яркую растительность, которая устилает поверхность реки, то поднимается, то опускается, следуя капризам ее течения, и колеблется под порывами бури, вызванной ударами мельничного колеса. То тут, то там выступают из воды покрытые гравием мели, о которые разбиваются водяные струи, образуя бахрому сверкающей на солнце пены. Амариллисы, кувшинки, водяные лилии, камыши и купальницы окаймляют берега своим пестрым ковром. Шаткий полусгнивший мостик,

устои которого поросли цветами, а перила одеты бархатистым мхом, клонится к воде, но никак не может упасть. Старые лодки, рыбацьи сети, однообразная песнь пастуха, утки, которые плавают между островками или охорашиваются на отмели, покрытой крупным луарским песком, подручные мельника в колпаке набекрень, грузящие муку на мулов, – каждая из этих подробностей придавала картине какую-то трогательную наивность. Вообразите за мостом две или три фермы, голубятню, штук тридцать хижин, разделенных садиками или изгородями из жимолости, жасмина и ломоноса; представьте себе возле каждого ворот кучу навоза, покрытую молодой травкой, кур и петухов, разгуливающих по дорогам, и перед вами оживет село Пон-де-Рюан, живописное село, над которым высится старинная церковь своеобразной архитектуры, возведенная еще во времена крестовых походов, такая, о какой мечтают художники для своих полотен. Поместите этот вид в рамку из могучих ореховых деревьев и молодых тополей с золотистой листвой, расположите веселые домики посреди обширных лугов под высоким куполом знойного неба, и вы получите представление об одном из характерных ландшафтов этого прекрасного края. Я направился по дороге в Саше левым берегом реки, любуясь склонами холмов на противоположном берегу. Добравшись наконец до парка с вековыми деревьями, я понял, что он принадлежит к владениям замка Фрапель. Я прибыл туда как раз вовремя: колокол возвещал о начале завтрака. После трапезы, не подозревая, что я пришел из Тура пешком, хозяин замка предложил мне осмотреть его земли; но где бы мы ни проходили, я отовсюду видел долину в ее бесконечном разнообразии: здесь – сквозь просвет между деревьями, там – всю целиком; часто мой взгляд привлекала вдали серебряная полоска Луары, сверкающая, как клинок сабли, где среди расставленных сетей бежали подгоняемые ветром парусные лодки, вычерчивая на воде причудливые зигзаги. Взобравшись на вершину холма, я впервые zalюбовался замком Азе, этим многогранным бриллиантом, оправленным течением Эндра и словно выступающим из корзины цветов. Затем я увидел в котловине романтическую громаду замка Саше, навевающего всем своим видом тихую грусть, слишком глубокую для поверхностных людей, но бесконечно дорогую скорбному сердцу поэта. Вот почему я полюбил впоследствии тишину этого поместья, его огромные седые деревья и эту пустынную ложбину, самый воздух которой как бы насыщен тайной! Но всякий раз как взгляд мой находил на склоне холма красивый замок, замеченный, облюбованный мною с самого начала, я, не отрываясь, смотрел на него.

– Вот оно что, – сказал мой спутник, прочтя в моем взоре горячее восхищение, которое мы так наивно выражаем в юности, – оказывается, вы издали чувствуете хорошенькую женщину, как собака чувствует дичь.

Эти слова не понравились мне, но я все же спросил название замка и фамилию его владельца.

– Это красивое поместье – Клошгурд, – ответил он, – его владелец, граф де Морсоф, принадлежит к старинному туреньскому роду, возвеличенному еще Людовиком XI. Фамилия Морсоф¹³ указывает на событие, которому этот дом обязан своим гербом и славой. Их род ведет начало от человека, чудом избежавшего виселицы. Вот почему *на золотом поле герба изображен висящий в воздухе черный крест с повторенными на концах перекладами; в середине креста – золотая срезанная лилия. Девиз: «Бог милостив к королю, нашему повелителю».*

Граф поселился здесь по возвращении из эмиграции. Поместье, в сущности, принадлежит его жене, урожденной де Ленонкур-Живри. Этому роду вскоре суждено угаснуть, так как госпожа де Морсоф – единственная дочь. Бедность обоих супругов настолько не вяжется с их знатностью, что они из гордости, а быть может, по необходимости безвыездно живут в Клошгурде и никого не принимают. Их приверженность Бурбонам оправдывала до

¹³ Морсоф – по-французски «спасенный от смерти».

сих пор столь уединенный образ жизни, но я сильно сомневаюсь, чтобы после возвращения короля они изменили свои привычки. Я обосновался здесь в прошлом году и тотчас же нанес им визит; они тоже побывали во Фрапеле и пригласили меня с женой на обед; зима разлучила нас на несколько месяцев с этой семьей, да и политические события задержали меня в Париже, ведь я совсем недавно вернулся сюда. Госпожа де Морсоф такая женщина, что могла бы всюду занимать первое место.

– Она часто бывает в Туре?

– В Туре? Никогда. Впрочем, – заметил он, спохватившись, – она была там совсем недавно, во время пребывания герцога Ангулемского, который очень милостиво обошелся с господином де Морсофом.

– Это она! – воскликнул я.

– Кто она?

– Женщина, у которой такие красивые плечи.

– В Турени есть много женщин с красивыми плечами, – проговорил он смеясь. – Впрочем, если вы не устали, мы можем перебраться на тот берег и зайти в Клошгурд, там вы воочию убедитесь, те ли это плечи или не те.

Я принял предложение, краснея от радости и стыда. Часов около четырех мы добрались до маленького замка, которым я уже давно любовался. Это здание, такое великолепное в рамке здешнего пейзажа, оказалось вблизи очень скромным. Своим фасадом в пять окон оно обращено на юг, причем крайние окна выступают на две туазы вперед, придавая особую прелесть всему архитектурному ансамблю: кажется, будто у дома два крыла; средний проем служит дверью, и от нее двойная лестница ведет в парк, который террасами спускается к Эндру. Хотя между узким зеленым берегом и последней террасой парка, обсаженной акациями и лаковыми деревьями, идет проезжая дорога, ее не замечаешь за буйно разросшейся зеленью, и можно подумать, что поместье доходит до самой воды. Парк содержится в образцовом порядке, и дом стоит достаточно далеко от реки, чтобы близость ее, доставляя одни удовольствия, не причиняла неудобств. Ниже дома расположены по склону холма сараи, конюшни, кладовые и кухни со сводчатыми дверями и окнами. Их крыши, изящно закругленные по углам, прорезаны чердачными окнами с затейливыми наличниками и украшены на самом верху букетами свинцовых цветов. Кровля, которую, очевидно, не чинили со времени революции, словно изъедена ржавчиной от покрывающего ее сухого, красноватого мха, какой встречается на домах, обращенных к югу. Над застекленной парадной дверью замка сохранилась башенка и на ней лепной герб рода Бламон-Шоври: *щит герба четверочастный; на красном поле правой вершины и левой подошвы два черных скрещенных копья, а меж ними отверстыя, золотые длани; два другие поля лазурные, на них серебряные шлемики*. Меня особенно поразил девиз: «*Смотреть смотри, а трогать не смей!*». Щитодержатели герба, червлёный грифон и дракон, опоясанные золотой перевязью, были очень искусно выполнены. Во время революции оказалась попорчена герцогская корона и шапка герба, представляющая собой зеленую пальму с золотыми плодами. Недаром до 1781 года должность бальи¹⁴ в Саше занимал некто Сенар, секретарь Комитета общественного спасения.

Все эти детали придают прелесть замку, который отделан, как дорогая безделушка, и кажется издали невесомым. Если смотреть со стороны долины, нижнего этажа не видно, но со стороны двора дом стоит вровень с широкой, усыпанной песком аллеей, ведущей к лужайке с яркими клумбами. Направо и налево тянутся виноградники, фруктовые сады и участки, засаженные ореховыми деревьями; круто спускаясь по склону холма, эти деревья

¹⁴ Бальи – до буржуазной революции конца XVIII века королевский чиновник в провинции, исполнявший административные и судейские функции.

окружают дом своим темным массивом и доходят до берегов Эндра, покрытых здесь зелеными рощами таких богатых оттенков, создать которые под силу одной лишь природе. По дороге в Клошгурд я любовался местоположением замка и вдыхал воздух, словно напоенный счастьем. Неужели внутренний мир человека обладает такими же магнетическими свойствами, как и внешний мир, и подвержен столь же резким колебаниям температуры? Мое сердце билось все сильнее, чувствуя приближение неведомых событий, коим суждено было навеки изменить для меня весь мир; так играет и веселится зверек перед наступлением хорошей погоды. Все соединилось в этот знаменательный для меня день, чтобы придать ему как можно больше торжественности. Природа оделась в свой лучший наряд, словно женщина, спешащая навстречу возлюбленному, и я впервые услышал ее голос, впервые увидел ее во всем изобилии, во всем великолепии, именно такой, какой она рисовалась мне в юношеских мечтах, которые я неумело пытался вам описать, чтобы пояснить их влияние на мою жизнь: они были для меня своего рода апокалипсисом, где каждое счастливое или несчастное событие было мне символически предсказано причудливым видением, зримым лишь для духовного взора. Мы пересекли первый двор, окруженный хозяйственными строениями: тут были и рига, и давилня для винограда, и хлев, и конюшня. На лай сторожевой собаки вышел слуга и сказал, что граф уехал с утра в Азе и, вероятно, скоро вернется, а графиня дома. Мой спутник взглянул на меня. Я дрожал от страха, что он не пожелает беспокоить г-жу де Морсоф в отсутствие мужа, но он велел слуге доложить о нас. С нетерпением ребенка я вбежал в переднюю, проходящую через весь дом.

– Входите же, господа! – прозвучал серебристый голос.

Г-жа де Морсоф произнесла на балу одно только слово, но я тотчас же узнал этот голос, который проник в мою душу и озарил ее светом: так луч солнца озаряет темницу узника и золотит ее стены. Подумав, что она может узнать меня, я хотел убежать, но было поздно: она стояла на пороге, наши глаза встретились. Не знаю, кто из нас покраснел сильнее. В замешательстве она не сказала ни слова и молча вернулась на свое место к пальцам; слуга придвинул нам два кресла; она вдела нитку в иголку, чтобы найти предлог для молчания, сосчитала несколько стежков и, повернув к г-ну де Шесселю свое гордое и вместе с тем кроткое лицо, спросила, какому счастливому случаю она обязана его посещением. Несомненно, ей было любопытно узнать причину моего появления, но она не смотрела ни на одного из нас: глаза ее все время были прикованы к реке; однако по тому вниманию, с каким она слушала собеседника, можно было подумать, что, подобно слепым, она угадывает душевное волнение по едва приметным интонациям голоса. И это было действительно так. Г-н де Шессель назвал меня и вкратце рассказал мою историю. Я вернулся несколько месяцев тому назад в Тур, куда привезли меня родители, чтобы уберечь от опасностей войны, угрожавшей Парижу. Я был ей представлен как уроженец Турени, незнакомый со своим родным краем, которого послали в Фрапель, чтобы поправить здоровье, расстроенное чрезмерными занятиями; г-н де Шессель показывал мне свои владения, так как я приехал к нему впервые, но я признался лишь у подножия холма, что проделал пешком всю дорогу из Тура. Боясь повредить моему слабому здоровью, он осмелился зайти в Клошгурд, надеясь, что г-жа де Морсоф разрешит мне отдохнуть у нее в доме. Г-н де Шессель говорил правду, но счастливые совпадения так редки, что г-жа де Морсоф отнеслась недоверчиво к этому рассказу; я был сражен ее холодным, строгим взглядом и опустил голову, охваченный чувством, похожим на унижение, да и, кроме того, мне хотелось скрыть набежавшие на глаза слезы. Величавая хозяйка замка заметила холодный пот у меня на лбу; быть может, она угадала и готовые брызнуть слезы, ибо предложила мне все, в чем я мог нуждаться, выказав столько милой доброты, что я вновь обрел дар речи. Я покраснел, словно девушка, застигнутая врасплох, и дрожащим, как у старца, голосом стал благодарить ее.

– Я хотел бы только одного: чтоб меня не прогоняли отсюда, – прибавил я, подняв голову, причем наши глаза встретились на мгновение, короткое, как вспышка молнии, – я так устал, что едва держусь на ногах.

– Не надо сомневаться в гостеприимстве нашего прекрасного края, – сказала она и продолжала, повернувшись к г-ну де Шесселю: – Не правда ли, вы доставите мне удовольствие и отобедаете с нами?

Я бросил на своего покровителя такой умоляющий взгляд, что у него не хватило духа отказаться от приглашения, сделанного, по-видимому, из одной учтивости. Привычка вращаться в свете научила г-на де Шесселя различать тончайшие оттенки в обращении людей, но неопытный юноша так свято верит соответствию слов и мыслей у хорошенькой женщины, что я был крайне удивлен, когда, возвратившись к вечеру домой, г-н де Шессель сказал мне:

– Я остался только потому, что вам смертельно этого хотелось, но если вы не уладите дело, этот обед, возможно, рассорит меня с соседями.

Слова «если вы не уладите дело» навели меня на глубокие размышления. Неужели я мог понравиться графине? Ведь только в этом случае она не станет досадовать на того, кто ввел меня в ее дом. Значит, г-н де Шессель считает, что я способен заинтересовать ее. Эта мысль подкрепила мою надежду в тот момент, когда я больше всего нуждался в поддержке.

– Вряд ли нам удастся принять ваше приглашение, – ответил он, – госпожа де Шессель ждет нас к обеду.

– Вы и так постоянно обедаете дома, – продолжала графиня, – к тому же мы можем ее уведомить. Она сегодня одна?

– Нет, у нее аббат де Келюс.

– В таком случае вы обедаете у нас! – сказала г-жа де Морсоф, вставая, чтобы позвонить.

На этот раз г-ну де Шесселю было трудно заподозрить ее в неискренности, и он выразительно посмотрел на меня. Как только я убедился, что останусь весь вечер под этой кровлей, передо мной как бы открылась вечность. Для многих обездоленных слово «завтра» лишено всякого смысла, а я принадлежал тогда к числу людей, которые не верят в завтрашний день; пусть в моем распоряжении было лишь несколько часов, я видел в них целую жизнь блаженства. Г-жа де Морсоф заговорила об уборке хлеба, об урожае винограда и о местных делах – предметах для меня совершенно чуждых. Такой поступок хозяйки дома свидетельствует обычно о незнании приличий или же о пренебрежении к тому гостю, которого она ставит в положение молчаливого слушателя, но графиня просто старалась скрыть свое замешательство. И если в ту минуту мне казалось, что она обращается со мной, как с ребенком, если я завидовал г-ну де Шесселю, которому его тридцать лет давали право вести разговор о важных вещах – а я в них ничего не смыслил, – если я досадовал, что все внимание, хозяйки обращено на него, то несколько месяцев спустя я узнал, как многозначительно бывает молчание женщины и сколько чувств скрывается порой за пустым разговором. Прежде всего я постарался усесться поудобнее в кресле; затем воспользовался выгодами своего положения, чтобы в полной мере насладиться голосом графини. Ее душа раскрывалась в чередовании слогов так же, как мелодия изливается в звуках флейты; голос ласково касался моего слуха и ускорял бег крови в жилах. Произношение слов, оканчивающихся на «и», походило на пение птицы; буква «ш» звучала в ее устах, как поцелуй, а «т» она выговаривала так, что сразу чувствовалось, какую тираническую власть имеет над ней сердце. Таким образом, сама того не ведая, она расширяла смысл слов, увлекая мою душу в неземные выси. Сколько раз я старался продлить спор, который мог бы закончиться в одну минуту; сколько раз готов был навлечь на себя упреки в рассеянности, а между тем я жадно прислушивался к переливам ее голоса и вдыхал воздух, вылетающий вместе со словами из небесных уст, пытаюсь уловить

эту эманацию ее души с таким же пылом, с каким я прижал бы к груди самое графиню! Ее редкий смех звучал, как радостное щебетание ласточки! Но зато, какой грустный крик лебедя, зовущего подругу, слышался в ее голосе, когда она говорила о своих горестях! Благодаря невниманию графини к моей особе, я мог свободно рассмотреть нашу прекрасную собеседницу. Мой взор с наслаждением любовался ею, охватывал ее стан, целовал ее ножки, играл локонами прически. Однако я все время терзался страхом, понятным для тех, кто хоть раз в жизни испытал беспредельные радости истинной страсти. Я боялся, как бы она не заметила, что мои глаза прикованы к ее плечам, которые я так страстно целовал на балу. Страх еще усиливал искушение, и наконец я не устоял: я посмотрел на заветное местечко, мой взор проник сквозь материю, я вновь увидел родинку, от которой шла прелестная ложбинка между плечами, родинку, черную, как изюминка, плавающая в молоке; ведь с того памятного дня эта родинка сияла передо мной каждую ночь среди мрака, в котором растворяется сон юношей с горячим воображением, принужденных вести целомудренную жизнь.

Я хочу набросать вам портрет графини, и вы поймете, почему она всюду привлекала к себе внимание; но самый точный рисунок, самые яркие краски бессильны передать ее обаяние. Какой живописец мог бы написать это лицо, чья кисть изобразила бы отблеск внутреннего огня, тот неуловимый свет, который отрицает наука, не в силах воспеть поэт, но зато видит глаз влюбленного? Слишком густые пепельные волосы были причиной частых страданий графини, вызванных, по-видимому, внезапными приливами крови к голове. Ее лоб, высокий и выпуклый, как у Джоконды¹⁵, скрывал множество невысказанных мыслей и заглушенных чувств, похожих на поблекшие цветы, лишенные живительных соков. Зеленовато-карие глаза были неизменно спокойны; но если дело касалось ее детей, если она поддавалась порывам радости или горя, редким у женщины, покорившейся судьбе, в глазах вспыхивали молнии, которые загорались, по-видимому, в самых глубинах ее существа, грозя все испепелить; именно такой взгляд вызвал у меня слезы, когда она сразила меня своим гневным презрением, и даже самые дерзкие люди не могли его выдержать. Греческий нос, словно изваянный Фидием, соединился двумя полуокружиями с изящно очерченным ртом и придавал одухотворенность овальному лицу, которое напоминало своей белизной камелию и нежно розовело лишь на щеках. Она была довольно полна, но это нисколько не нарушало ни стройности стана, ни красоты форм, сохранявших чудесную упругость. Вы легко поймете все ее совершенство, если я скажу, что на ослепительных плечах, околдовавших меня с первого взгляда, не было ни единой складочки. Шея графини ничем не напоминала шею некоторых женщин, сухую, как ствол дерева; мускулы нигде не выступали на ней, и взгляд встречал лишь округлые линии и плавные изгибы, не поддающиеся кисти художника. Легкий пушок покрывал ее щеки и шею, словно задерживая лучи света, отчего кожа казалась шелковистой. Свои маленькие, красивой формы ушки она называла «ушами матери и рабыни». Когда впоследствии я получил доступ к ее сердцу, она иногда говорила мне: «Вот идет господин де Морсоф» – и была права, тогда как я, несмотря на свой тонкий слух, еще не мог различить шума его шагов. Руки у нее были прекрасные, пальцы длинные, с загнутыми кончиками и миндалевидными ногтями, как у античных статуй. Я прогневил бы вас, отдав предпочтение плоским талиям перед круглыми, если бы вы не были исключением. Женщины с круглой талией отличаются властным, своевольным характером, они скорее страстны, чем нежны. Напротив, женщины с плоской талией преданны, чутки, склонны к меланхолии; у них больше женственности, чем у первых. Плоская талия гибка и податлива, круглая талия говорит о непреклонном и ревнивом темпераменте. Вы знаете теперь, какая внешность была у графини. Кроме того, у нее были ножки аристократки, которые не при-

¹⁵ Джоконда. – Речь идет о портрете Моны Лизы Джоконды работы итальянского художника Леонардо да Винчи (1452–1519). Джоконда изображена с легкой, едва уловимой улыбкой, как бы скользящей по ее лицу.

выкли много ходить и быстро устают; эти хорошенькие ножки радовали взгляд, когда показывались из-под подола платья. Хотя она была уже матерью двух детей, я никогда не встречал женщины более юной на вид. В ее лице было что-то покорное, какая-то сосредоточенность и задумчивость, и это выражение влекло вас неодолимо, как те портреты, в которых художник силой своего таланта сумел передать целый мир чувств. Впрочем, внешние качества графини можно описать лишь путем сравнения. Вспомните целомудренный аромат той веточки дикого вереска, которую мы сорвали с вами, возвращаясь с виллы Диодати – вы еще любовались тогда ее черной и розовой окраской, – и вы легко поймете, как могла эта женщина быть элегантною вдали от света, естественной во всех своих движениях, изысканной даже в мелочах, поистине напоминая черно-розовый цветок. В теле ее чувствовалась свежесть только что распутившихся листьев, ум обладал ясностью ума поселянки; она была чиста, как дитя, серьезна, как страдальца, величественна, как знатная дама, и умна, как ученая женщина. Вот почему графиня нравилась без уловок кокетства, нравилась каждым своим движением, тем, как она ходила, садилась, молчала или невзначай роняла какое-нибудь слово. Она бывала обычно сдержанна и настороженна, словно часовой, который обязан охранять безопасность окружающих и еще издали чувствует приближение беды; но порой на ее губах появлялась шаловливая улыбка, говорившая о природной веселости, подавленной жизненными невзгодами. Ее кокетство затаилось где-то очень глубоко, оно навевало мечтательность, вместо того чтобы привлекать внимание кавалеров, столь ценное женщинами, и позволяло догадываться о врожденной страстности темперамента и о наивных девичьих грезах: так в просвете между тучами проглянет иной раз клочок голубого неба. И невольно, поняв эти скрытые порывы, погружались в задумчивость люди, чью душу еще не успел иссушить пламень желаний. Жесты и в особенности взгляды г-жи де Морсоф были так редки (обычно она смотрела только на своих детей), что придавали глубокую торжественность ее словам и поступкам, и даже в минуты откровенных признаний она оставалась гордой и величавой. В тот день на г-же де Морсоф было розовое платье в мелкую полоску, воротничок с широкими отворотами, черный пояс и черные ботинки. Волосы были собраны простым узлом и заколоты черепаховым гребнем. Таков обещанный мною, хотя и несовершенный портрет графини. Но этого недостаточно. И душевная теплота, которой она одаряла близких, подобно солнцу, согревающему своими живительными лучами все сущее; и подлинная природа этой женщины, ясной в счастливые минуты и стойкой в грозные периоды жизни; и превратности ее судьбы, которые столь ярко выявляют характеры и зависят, как и все, что посылает нам небо, от неожиданных и мимолетных событий, несхожих между собой, но часто происходящих на одинаковом фоне, – все это войдет в ткань моего повествования; перед вами развернется эпопея семейной жизни, столь же великая в глазах мудреца, как и возвышенная трагедия в глазах толпы; она заинтересует вас не только потому, что я принял в ней участие, но и в силу сходства описанной в ней судьбы с судьбой многих других женщин.

В Клошгурде на всем лежал отпечаток поистине английской чистоплотности. Стены гостиной, в которой сидела графиня, были доверху обшиты деревом и выкрашены в серый цвет двух оттенков. На камине стояли часы в футляре красного дерева и две большие вазы из белого фарфора с золотыми прожилками, а в них букеты капского вереска. На круглом столике горела лампа. Против камина помещался стол для игры в триктрак. На окнах висели белые перкалевые занавески, подобранные с обеих сторон широкими подхватами. Серые чехлы с зеленой тесьмой покрывали мебель, а скромность вышивки, вставленной в пяльцы, красноречиво свидетельствовала о вкусе графини. Простота граничила здесь с величием. Ни один дом, в котором я побывал впоследствии, не производил на меня столь сильного и благотворного впечатления! Атмосфера гостиной Клошгурда походила своей спокойной сосредоточенностью на жизнь графини, и, глядя на окружающую обстановку, можно было судить о монастырской размеренности занятий хозяйки. Все мои самые смелые политиче-

ские и научные идеи родились здесь с той же естественностью, с какой розы испускают свой аромат; здесь рос дикий цветок, оплодотворивший своей пыльцой мою душу, здесь сияло солнце, чей благодетельный свет помог развиваться моим хорошим качествам и иссушил дурные. Из окон дома взгляд охватывал всю долину от холма, где лежит село Пон-де-Рюан, до замка Азе, следуя по извилинам другого берега реки, который оживляли башни Фрапеля, церковь, поселок и громада старинного замка Саше, возвышавшегося над лугом. Этот край гармонировал с тихой, замкнутой жизнью графини и сообщал ее душе свою безмятежную ясность. Если бы я впервые встретил г-жу де Морсоф с мужем и двумя детьми в Клошгурде, а не на балу в великолепном вечернем наряде, я не отважился бы на безумные поцелуи, в которых теперь горько раскаивался, полагая, что они навеки отняли у меня надежду на любовь! Нет, в том мрачном унынии, в какое меня повергли былые несчастья, я преклонил бы колени, поцеловал ее туфельки, оросив их слезами, а затем бросился бы в Эндр.

Но теперь, когда я прикоснулся губами к ее белой, как жасмин, коже и отпил несколько глотков из чаши любви, моя душа расцвела надеждой на земную страсть; я хотел жить и ждать часа наслаждения с упорством дикаря, подстерегающего час мести; я хотел, как он, взбираться на деревья, ползти среди виноградников, скрываться в водах Эндра; я мечтал воспользоваться тишиной ночи, усталостью сердца, зноем лета, чтобы насладиться восхитительным плодом, который успел отведать. Потребуй она у меня сказочный поющий цветок или сокровища, зарытые Морганом – грозой морей¹⁶, я добыл бы их для нее, лишь бы получить взамен иные, столь желанные сокровища и немой цветок любви! Сон наяву, в который я погрузился, созерцая свою богиню, был прерван слугой, говорившим ей что-то о графе де Морсофе. Только тогда я подумал, что графиня принадлежит своему мужу. При этой мысли я почувствовал головокружение. Затем меня охватило яростное и мрачное любопытство: мне хотелось видеть обладателя этой жемчужины. Два чувства господствовали в моей душе: ненависть и страх; ненависть, готовая без колебания преодолеть любое препятствие, и смутный, но сильный страх перед борьбой, перед исходом этой борьбы и, главное, перед Нею. Охваченный неясными предчувствиями, я опасался рукопожатий, бесчестящих человека, и уже предвидел мелкие, будничные препятствия, перед которыми слабеет воля самых сильных. Я боялся болота повседневности, ибо в наши дни оно засасывает людей и лишает социальную жизнь развязок, которых жаждут пылкие сердца.

– Вот и господин де Морсоф, – проговорила она.

Я вскочил на ноги, как испуганный конь. Хотя это движение не ускользнуло ни от г-на де Шесселя, ни от графини, оно не вызвало их молчаливого порицания, ибо как раз в эту минуту вбежала девочка лет шести со словами:

– Папенька пришел!

– Ну что же ты, Мадлена? – заметила мать.

Девочка протянула ручку г-ну де Шесселю и поклонилась мне, взглянув на меня внимательно и удивленно.

– Как ее здоровье? Оно больше не внушает вам опасений? – спросил г-н де Шессель у графини.

– Теперь ей лучше, – отвечала она, глядя по голове прильнувшую к ней дочку.

Из слов г-на де Шесселя я узнал, что Мадлене было девять лет; я не мог скрыть удивления, при виде которого облако грусти омрачило лицо г-жи де Морсоф. Мой собеседник бросил на меня один из тех многозначительных взглядов, которыми светские люди дополняют наше воспитание. Очевидно, я невольно коснулся раны материнского сердца, чувства

¹⁶ *Морган – Гроза морей.* – Морган – английский флибустьер. Флибустьеры – пираты XVII века, грабившие главным образом испанские корабли. В борьбе со своей соперницей на мировом рынке – Испанией Англия и Франция не раз использовали флибустьеров.

которого следовало щадить, Мадлена, конечно, не выжила бы в городе; это был хилый ребенок с большими усталыми глазами и с прозрачно-белой кожей, напоминавшей освещенную изнутри фарфоровую вазу. Деревенский воздух, неусыпные заботы матери, которая, видимо, не могла надышаться на нее, поддерживали жизнь в этом теле, столь же хрупком, как цветок, распустившийся в теплице, несмотря на суровость чуждого ему климата. Хотя Мадлена не имела ни малейшего сходства с матерью, она, казалось, унаследовала ее душу, и эта душа поддерживала силы ребенка. Жиденькие черные волосы, ввалившиеся глаза, впалые щеки, худые ручки, узкая грудь – все говорило о борьбе жизни со смертью, о беспрестанном поединке, из которого графиня выходила до сих пор победительницей. Девочка старалась казаться веселой, по-видимому, чтобы не тревожить мать; но, когда она не следила за собой, вся ее фигурка никла, как плачущая ива. Можно было подумать, что это маленькая изголодавшаяся цыганка, которая пришла из родного края, прося подаяние, что она устала, истощена, но полна мужества и нарядилась для выступления перед зрителями.

– Где же ты оставила Жака? – спросила мать, целуя ее в пробор, разделявший черные, как вороново крыло, волосы.

– Он идет сюда вместе с папенькой.

В эту минуту вошел граф, держа сына за руку. Жак был копией сестры и тоже поражен своим болезненным видом. Смотря на этих двух детей рядом с их прекрасной, полной жизни матерью, легко было отгадать причину печали, снедавшей графиню, ее горькие думы, поверяемые лишь богу и налагавшие на чело свою неизгладимую печать. Г-н де Морсоф поклонился мне, окинув меня взглядом скорее беспокойным, чем проницательным, взглядом подозрительного человека, не умеющего разбираться в людях. Представив меня мужу и объяснив мое присутствие в Клошгурде, г-жа де Морсоф направилась к двери. Дети, не отрывавшие глаз от матери, словно она была для них источником света, хотели бежать за ней.

– Оставайтесь, мои милые! – сказала она, приложив палец к губам.

Они повиновались, но глаза их затуманились печалью. Ах, чего бы я не дал за одно это слово «милый»! Когда она ушла, мне, как и детям, стало холоднее. Услышав мое имя, граф сразу переменялся ко мне. Из надменно-холодного он стал если не сердечным, то по крайней мере подчеркнуто любезным, осыпал меня знаками внимания и, казалось, был рад принять меня у себя в доме. Некогда мой отец, верой и правдой служивший нашим коронованным повелителям, играл при них крупную, но тайную роль, роль опасную, сулившую, однако, успех. Когда же с приходом к власти Наполеона все было потеряно, отец, как и многие бывшие заговорщики, обосновался в провинции и ограничил свою жизнь радостями домашнего очага, примирившись с обвинениями, столь же суровыми, сколь и несправедливыми, – такова неизбежная участь игроков, которые все ставят на карту и сходят со сцены после того, как собственными руками пустили в ход политическую машину. Ничего не зная ни о судьбе, ни о прошлом, ни о настоящем моей семьи, я был так же мало осведомлен и об этой позабытой страничке из жизни отца, о которой помнил г-н де Морсоф. Однако если древность нашего рода, ценнейшее качество в глазах такого человека, как граф, и могла объяснить радушный прием, обрадовавший и смутивший меня, то истинную причину благожелательности г-на де Морсофа я узнал лишь позднее. А пока эта неожиданная любезность помогла мне овладеть собой. Когда между нами вновь завязался разговор, Мадлена высвободила головку из-под руки отца и, взглянув на открытую дверь, проскользнула в нее с проворством змейки; Жак последовал за сестрой. Они спешили к матери, и действительно, вскоре до меня донеслась их возня и звуки голосов, похожих на жужжание пчел у родного улья.

Я приглядывался к г-ну де Морсофу, стараясь разгадать его характер; некоторые особенности его внешности так заинтересовали меня, что я не мог ограничиться беглым взглядом, какой обычно бросаешь на незнакомого человека. Хотя графу было только сорок пять лет, на вид ему казалось не меньше шестидесяти: так состарило этого человека великое кру-

шение, ознаменовавшее конец XVIII века¹⁷. Черные с проседью волосы, по-монашески опоясывая сзади лысый череп, доходили до ушей и топорщились у висков. Лицо смутно напоминало морду белого волка, испачканную в крови, ибо нос его рдел, как у всех людей, чья жизнь подорвана в самой своей основе, желудок испорчен и все функции организма нарушены по вине застарелых болезней. Прямой обветренный лоб, слишком широкий для остроконечного лица, покрывали беспокойные поперечные морщины, говорившие скорее о привычке жить на свежем воздухе, чем об упорном умственном труде, скорее о гнете постоянных несчастий, чем о борьбе с судьбой. Выдаваясь на синевато-бледном лице, смуглые скулы свидетельствовали о натуре достаточно крепкой, чтобы обеспечить графу долгую жизнь. Суровый взгляд его желтых глаз, блестящих и холодных, словно свет солнца зимой, был бездумный, тревожный и беспричинно недоверчивый. В складке рта чувствовалось что-то повелительное, необузданное, подбородок был длинный и плоский. Высокий худощавый граф держался, как дворянин, сознающий свое превосходство, впрочем, чисто условное, ибо он стоял выше других по праву и ниже по занимаемому положению. Живя в деревне, он несколько опустился и одевался, как помещик, в лице которого крестьяне и соседи видят лишь хозяина земельных владений. По его загорелым жилистым рукам можно было угадать, что он надевает перчатки, только когда катается верхом или идет в воскресенье к обедне. Обут он был в грубые башмаки. Хотя десять лет эмиграции и десять лет деревенской жизни изменили облик графа, в нем еще были видны признаки знатного происхождения. Заклятый либерал – слово, которое в те времена еще не стало ходячим, – и тот признал бы его неподкупную честность и незыблемые убеждения постоянного читателя «Котидьен»¹⁸. Он увидел бы в нем человека религиозного, страстно преданного делу роялизма, искреннего в своих политических антипатиях, неспособного оказать помощь своей партии, но весьма способного ее погубить, и ничего не знающего о том, что делается во Франции. В самом деле, граф был одним из тех прямолинейных людей, которые не идут ни на какие уступки и упорно всему мешают, готовы умереть с оружием в руках на боевом посту, но настолько скупы, что скорее пожертвуют жизнью, нежели деньгами. Во время обеда я заметил по красным пятнам на его впалых щеках и по взглядам, украдкой брошенным на детей, что г-на де Морсофа преследует навязчивая мысль, которую он напрасно пытается отогнать. Кто, увидев графа, не понял бы его терзаний?! Кто не признал бы его вины в том, что дети унаследовали болезненную слабость, лишавшую их жизненных сил?! Но, осуждая себя сам, он не признавал за другими права судить его. Он был желчен, как повелитель, сознающий свою вину, но ему не хватало душевного благородства, чтобы вознаградить близких за страдания, брошенные им на чашу весов судьбы; резкие черты графа и его бегающие глаза говорили о том, что совместная жизнь с ним тяжела, как крестный путь. Вот почему, когда вошла его жена с детьми, следовавшими за ней по пятам, я заподозрил, что в этой семье угнездилось несчастье: так, проходя над подземельем, ощущаешь порой его глубину. Видя вместе этих четверых людей, окидывая их взглядом, переводя глаза с одного на другого, изучая их лица и отношение друг к другу, я почувствовал, что грусть окутала мое сердце, словно серая пелена дождя, неожиданно омрачающая красивый пейзаж после великолепного солнечного восхода. Едва тема нашего разговора истошилась, граф снова оказал мне предпочтение перед г-ном де Шесселем, сообщив жене некоторые подробности из истории моего семейства, которые мне были неизвестны. При этом он спросил, сколько мне лет. Услышав мой ответ, графиня была не менее удивлена, чем я, когда узнал возраст ее дочери. Вероятно, она полагала, что мне не более четырнадцати лет. Как я потом узнал, это оказалось новой нитью, протянувшейся

¹⁷ ...великое крушение, ознаменовавшее конец XVIII века. – Имеется в виду Французская буржуазная революция 1789–1794 годов.

¹⁸ «Котидьен» – газета, основанная роялистами во время революции в 1792 году в целях борьбы с революционными идеями. В период Реставрации – орган ультрароялистов.

между нами. Я прочел мысли г-жи де Морсоф: ее материнское сердце затрепетало, озаренное лучом запоздалой надежды. Когда она увидела, что в двадцать лет я оставался тонким, хрупким, но был все же вынослив, внутренний голос шепнул ей: «Мои дети будут жить!» Она посмотрела на меня с любопытством, и я почувствовал, как в это мгновение между нами растаял лед. Казалось, она хотела задать мне множество вопросов, но не задала ни одного.

– Если чрезмерные занятия расстроили ваше здоровье, – заметила она, – воздух нашей долины исцелит вас.

– Нынешнее воспитание губит детей, – подхватил граф. – Мы пичкаем их математикой, обременяем излишней ученостью и только преждевременно истощаем их силы. Отдохните здесь, – продолжал он, – вы раздавлены лавиной обрушившихся на вас идей. Каких только бед не готовит нам теперешнее просвещение, доступное всем и каждому! Для предотвращения зла необходимо передать дело народного образования духовным конгрегациям.

Эти слова прекрасно объясняют, почему г-н де Морсоф отказался однажды голосовать за депутата, который своими талантами мог быть полезен делу роялизма. «Я никогда не доверял умным людям», – ответил он на недоуменный вопрос сборщика голосов.

Граф встал и предложил нам пройти по саду.

– Не надо, сударь, прошу вас... – проговорила графиня.

– В чем дело, дорогая? – спросил он с высокомерным видом, который доказывал, как сильно он желает властвовать у себя в доме и как далек от этого на самом деле.

– Наш гость пришел из Тура пешком, а господин де Шессель, не подозревая об этом, повел его осматривать свои владения.

– Вы поступили неосторожно, – сказал граф, обращаясь ко мне, – хотя в вашем возрасте...

И он покачал головой в знак сожаления.

Беседа возобновилась. Я вскоре заметил, как прямолинеен был роялизм графа и какие требовались уловки, чтобы избежать столкновения с ним. Слуга, успевший надеть ливрею, доложил, что кушать подано. Г-н де Шессель повел графиню, г-н де Морсоф весело взял меня под руку, и мы вошли в столовую, которая находилась на нижнем этаже, как раз против гостиной.

В столовой пол был выложен белыми плитками, изготовленными в Турени, а стены, обшитые деревом до половины человеческого роста, оклеены глянцевыми обоями с изображением цветов и плодов; на окнах висели перкалевые занавески, отделанные красным басоном; на старинных буфетах лежала печать мастерства Буля, стулья были резные, дубовые, украшенные вышивками ручной работы. Обед оказался весьма обильным, но сервирован был далеко не роскошно: фамильное разнокалиберное серебро, саксонский фарфор, в то время еще не успевший снова войти в моду, восьмигранные графины, ножи с агатовыми ручками, лакированные китайские подставки для бутылок, цветы в крашенных под лак кадочках с острыми золочеными зубцами по краям. Мне нравилась вся эта старина, я находил великолепными обои от Ревейона с бордюрами из крупных цветов. Радость, переполнявшая мое сердце, мешала видеть непреодолимые преграды, воздвигнутые между мной и г-жой де Морсоф самим укладом деревенской жизни с ее размеренностью и уединением; я сидел возле графини, по ее правую руку, я подавал ей пить! И неожиданное счастье: я прикасался к ее платью, ел ее хлеб! Не прошло и трех часов, а наши жизни уже переплелись! Кроме того, нас связывало воспоминание о том роковом поцелуе: это была как бы наша общая тайна, глубоко смущавшая нас обоих. В своем торжестве я стал льстецом: я старался понравиться графу, который благосклонно принимал мои любезности; я готов был ласкать его собаку, исполнять прихоти детей; мне хотелось подавать им серсо и мячи, катать их на собственной спине, и я даже досадовал, что они еще не завладели мною как своей собственностью. Любовь подобна таланту: ей тоже свойственна интуиция, и я смутно чувствовал, что горяч-

ность, дурное настроение или нелюдимость разрушили бы мои надежды. Обед прошел для меня среди неизъяснимых восторгов. Находясь под кровлей г-жи де Морсоф, я не замечал ни ее явной холодности, ни равнодушия графа, прикрытого маской учтивости. В начале любви, как и в начале жизни, есть период, когда она довольствуется сама собой. В своем смятении я несколько раз отвечал невпопад на предлагаемые вопросы, но никто не мог отгадать моей тайны, даже *она*, не ведавшая любви. Все остальное время пролетело как сон. Я пробудился от этого прекрасного сна, когда при свете луны теплым благоуханным вечером шел по мосту через Эндр; причудливые серебристые блики лежали на траве, на берегу и холмах, слышался звонкий, однотонный, равномерный, исполненный грусти звук: то кричала древесная лягушка, научное название которой мне неизвестно, но после этого знаменательного вечера я всегда слушаю ее со сладостным волнением. Я мысленно оглянулся назад и с некоторым опозданием понял, что здесь, как и повсюду, встретил то же каменное равнодушие, о которое разбивались до сих пор мои лучшие чувства; задал себе вопрос: неужели так будет длиться вечно? И мне показалось, что надо мной тяготеет проклятие; мрачные события прошлого набросили тень на сокровенные радости, которые я только что испытал. Прежде чем вернуться во Фрапель, я еще раз взглянул на Клошгурд и увидел внизу лодку, называемую в Турени «ту»; она была привязана к стволу ясеня и тихо покачивалась на воде. Лодка принадлежала г-ну де Морсофу, который ездил на ней удить рыбу.

– Мне кажется, нет нужды спрашивать, нашли ли вы женщину с красивыми плечами? – сказал г-н де Шессель, когда нас уже никто не мог услышать. – Можете гордиться приемом господина де Морсофа! Поздравляю, черт возьми! Вы сразу же оказались в центре неприязненьской крепости.

Эта тирада, сопровождаемая фразой, которую я привел выше, возродила мое угасшее было мужество. С тех пор как мы покинули Клошгурд, я не сказал ни слова, и г-н де Шессель, очевидно, объяснял мое молчание избытком счастья.

– Почему вы так полагаете? – спросил я ироническим тоном, который можно было приписать моей затаенной страсти.

– Он никогда так хорошо не принимал ни одного гостя.

– Признаюсь, я и сам удивлен таким приемом, – заметил я, чувствуя скрытую горечь в словах своего собеседника.

Хотя я был слишком неопытен в светских делах, чтобы понять причину досады г-на де Шесселя, меня все же поразило его с трудом скрываемое недовольство. Мой гостеприимный хозяин имел несчастье называться Дюраном и ставил себя в смешное положение, отрекаясь от имени своего отца, знаменитого фабриканта, нажившего огромное состояние во время революции. Его жена была единственной наследницей Шесселей, старинного судейского рода, ведущего свое начало со времен Генриха IV, как и большинство родов высших парижских чиновников. Итак, г-н де Шессель, этот заядлый честолюбец, вознамерился «убить» Дюрана, чтобы достичь желаемых высот. Сперва он стал называться Дюран де Шессель, затем Д. де Шессель, а когда я с ним познакомился, был уже просто г-н де Шессель. При Реставрации он получил от Людовика XVIII диплом на титул графа, дававший ему право учредить майорат¹⁹. Следовательно, дети г-на де Шесселя пожнут плоды его самоотверженности, так и не узнав жертвы, принесенной отцом. Язвительное словцо некоего вельможи до сих пор тяготело над ним. «Господин де Шессель редко появляется в образе Дюрана», – сказал он как-то. Эта эпиграмма долгое время ходила по Турени. Выскочки подобны обезьянам, у которых они переняли свою ловкость: когда они карабкаются вверх, любуешься их проворством, но, стоит им добраться до вершины, замечаешь лишь их заднюю часть. Обо-

¹⁹ *Майорат* – право нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в семье или роде. Уничтоженные революцией 1789 года, майораты были восстановлены во время Реставрации с целью сохранения состояний старой знати.

ротная сторона характера г-на де Шесселя состояла из мелких пороков, раздутых завистью. Однако он по-прежнему был далек от пэрства²⁰. Осуществить свои притязания – таково преимущество дерзкой силы; но тот, кто остановился на полпути, несмотря на высказанные им притязания, лишь выставляет себя в смешном свете перед обывателями. Между тем г-н де Шессель не шел прямо к цели, как сильный человек: он был дважды избран депутатом и дважды терпел поражение на выборах; вчера он занимал высокий государственный пост, а сегодня не был даже префектом; смена успехов и поражений испортила его характер, и он стал раздражителен, как всякий честолюбивый неудачник. Быть может, пагубную роль в его жизни сыграло чувство зависти, свойственное жителям Турени, которые проводят время, ревниво следя за успехами своих ближних, но только он немногого добился в высших сферах, ведь там не жалуют людей, которые хмурятся при виде чужой удачи и кривятся в усмешке губы, скорее созданные для эпиграмм, нежели для комплиментов. И хотя этот светский человек славился своим остроумием и был способен на большие дела, он, вероятно, достиг бы большего, если бы требовал не так много; к тому же, на свое несчастье, он обладал чувством собственного достоинства и никогда не гнул спины. В настоящее время г-н де Шессель переживал закат своих честолюбивых замыслов, хотя роялизм и благоприствивал ему. Пожалуй, он слишком любил подчеркнуть, что принадлежит к высшему свету, но по отношению ко мне был всегда безупречен. Впрочем, он нравился мне по той простой причине, что я впервые нашел покой под его кровлей. То незначительное внимание, которое он проявлял к моей особе, показалось мне, бедному, заброшенному ребенку, олицетворением отцовской любви. Его любезное гостеприимство настолько отличалось от равнодушия, угнетавшего меня прежде, что я выказывал г-ну де Шесселю детскую признательность за привольную жизнь в его доме и за ласковое обращение. Владельцы Фрапеля так тесно связаны с зарей моего счастья, что я невольно соединяю их с дорогими моему сердцу воспоминаниями. Позднее, когда я состоял при особе короля, мне удалось оказать кое-какие услуги моему бывшему хозяину. Г-н де Шессель был богат и жил на широкую ногу, что задевало самолюбие соседей; он часто менял свои великолепные выезды; его жена носила изысканные наряды; он устраивал блестящие приемы и держал больше прислуги, чем это принято в нашем краю, – словом, замашки у него были княжеские. Владения Фрапеля огромны. При виде роскоши соседа граф де Морсоф, которому приходилось довольствоваться семейным кабриолетом – а в Турени это нечто среднее между таратайкой и почтовой каретой – и по бедности жить на доходы с Клошгурда, конечно, завидовал ему, как истый туренец, до того дня, когда нежданная милость короля вернула семейству Морсофов его былой блеск. Итак, прием, оказанный графом младшему сыну древнего рода, герб которого восходит к временам крестовых походов, был попросту средством унижить незнатного соседа, обладателя обширных лесов, пахотных земель и лугов. Г-н де Шессель прекрасно понимал это. Вот почему, несмотря на неизменную учтивость, между соседями так и не возникло дружеской близости, вполне естественной между владельцами Клошгурда и Фрапеля – двух замков, разделенных лишь Эндром, из окон которых дамы могли бы приветствовать друг друга.

Впрочем, не одна зависть была причиной уединенной жизни графа де Морсофа. В молодости он получил поверхностное образование, как и большинство юношей знатного рода, которые лишь позже восполняли недостаток своих познаний, ведя светскую жизнь, знакомясь с обычаями двора и выполняя обязанности, налагаемые придворными чинами и должностями. Но г-н де Морсоф эмигрировал именно тогда, когда для него началось это второе воспитание, и не воспользовался его плодами. Он был из тех, кто поверил в быстрое вос-

²⁰ *Пэр* – член палаты пэров, созданной в 1814 году при реставрации Бурбонов в противовес палате депутатов; члены ее назначались королем, звание пэра было пожизненным и до Июльской революции 1830 года передавалось по наследству старшему сыну.

становление монархии во Франции и, питаясь иллюзиями, жил в изгнании среди прискорбной праздности. Когда распалась армия принца Конде²¹, в рядах которой граф отличился своим мужеством и самоотверженностью, он решил, что вскоре вернется под сень белого знамени²², и не стал, как другие эмигранты, подыскивать себе занятие. А может быть, у него не хватило духа пренебречь своим громким именем и трудиться ради хлеба насущного, ибо на труд он привык смотреть с презрением. Надежды, возлагаемые на завтрашний день, и, по всей вероятности, чувство чести помешали ему предложить свои услуги какой-нибудь иностранной державе. Страдания подорвали его мужество. Длинные переходы пешком на голодный желудок и обманутые ожидания расстроили здоровье, вселили уныние в душу. Скоро нищета его дошла до крайности. Если у многих людей бедность удваивает энергию, то на других она действует подобно яду, и граф принадлежал к этим последним. Несчастный турский дворянин, который странствовал пешком по дорогам Венгрии и делил кусок баранины с пастухами князя Эстергази – он никогда не принял бы милостыни от их хозяина и сотни раз отвергал подачки, предлагаемые врагами Франции, – ни разу не вызвал во мне неприязни, даже когда я увидел, насколько он смешон в своем самодовольстве. Седые волосы г-на де Морсофа рассказали мне горестную повесть этой жизни, и я слишком сочувствовал изгнанникам, чтобы осудить его. На чужбине граф утратил веселость, свойственную французам, и в частности уроженцам Турени; он стал угрюм, печален, занемог и был принят из сострадания в какую-то немецкую больницу. У него оказалось воспаление брюшины, болезнь часто смертельная, которая даже при благоприятном исходе плохо влияет на характер и почти всегда влечет за собой ипохондрию. Низменные любовные похождения г-на де Морсофа, тайну которых я отгадал, хотя она и была погребена в глубине его сердца, не только подорвали жизненные силы изгнанника, но и пагубно сказались на его потомстве. После двенадцати лет невзгод он обратил наконец свой взор на Францию, куда ему было разрешено вернуться декретом Наполеона. Когда, прекрасным летним вечером перебравшись через Рейн, страдалец увидел колокольню страсбургского собора, он едва не лишился чувств от волнения.

– Франция! Франция! Вот она, Франция! – воскликнул он, по его собственным словам, как ребенок, который кричит в бреду: «Мама! Мама!»

Рожденный в богатстве, он был теперь беден; предназначенный для того, чтобы командовать войском или стать государственным деятелем, он потерял власть и не имел будущего; некогда здоровый и крепкий, он возвратился больной и изношенный. Очутившись без образования в стране, где за это время успели измениться и люди и вещи, чуждый всему новому, граф понял, что он лишился не только физических, но и духовных сил. При отсутствии состояния громкое имя стало для него обузой. Непоколебимые убеждения, героическое прошлое, связанное с армией принца Конде, бывшие невзгоды, горестные воспоминания, расшатанное здоровье – все это обострило его обидчивость, недостаток, который не щадят во Франции, стране шутников. Полумертвый от усталости, он добрался до Мена, где благодаря случайности, нередкой во время гражданской войны, революционное правительство забыло продать довольно богатую ферму Морсофов, а арендатор сохранил ее для законного владельца, выдав за свою. Когда герцог де Ленонкур, живший по соседству, узнал о прибытии графа, он тут же предложил ему поселиться у себя на все время, необходимое для устройства приличного жилья. Ленонкуры проявили много благородства и великодушия по отношению к графу, который несколько оправился во время этой первой передышки и постарался скрыть от окружающих свои болезни. Ленонкуры потеряли принадлежавшее им некогда огромное состояние, а по родовитости г-н де Морсоф был приличной партией для

²¹ ...армия принца Конде – то есть армия эмигрантов, сформированная в Кобленце принцем Конде Луи-Жозефом (1736–1818).

²² Белое знамя – то есть королевское знамя Бурбонов.

их единственной дочери. Молодая девушка не только не противилась этому браку с больным и преждевременно состарившимся графом, которому в ту пору было тридцать пять лет, но, казалось, с радостью приняла его предложение. Замужество давало ей возможность жить с теткой, герцогиней де Верней, сестрой князя де Бламон-Шоври, любившей ее с материнской нежностью.

Г-жа де Верней, близкая подруга герцогини Бурбонской, принадлежала к религиозному обществу, душой которого был уроженец Турени Сен-Мартен, прозванный «Неведомым философом»²³. Последователи этого философа стремятся обрести добродетели, превозносимые умозрительной философией иллюминизма. Сия мистическая доктрина открывает доступ в божественные миры, рассматривает жизнь как ряд превращений, готовящих человека к возвышенной судьбе, освобождает понятие долга от унижительного подчинения законам и учит принимать житейские невзгоды с неизменной кротостью квакеров²⁴, пробуждая в сердце верующих нечто вроде братской любви к ангелу-хранителю, обитающему на небесах. Это своего рода стоицизм, подкрепленный верой в будущее. Действенная молитва и чистая любовь – таковы основы учения Сен-Мартена, которое выходит за пределы римско-католической церкви, сближаясь с христианской церковью первых веков. Мадемуазель де Ленонкур осталась, однако, в лоне апостолической церкви, которой, несмотря ни на что, была верна и ее тетушка. Перенеся жестокие испытания во время революции, герцогиня де Верней предалась под конец жизни пламенному благочестию, которое, по словам Сен-Мартена, пролило и в душу ее племянницы «свет небесной любви и елей духовной радости». После смерти тетушки графиня несколько раз принимала этого проповедника мира и добродетели в Клошгурде, где он часто бывал и прежде. Гостя у нее, он следил за изданием своих новых книг у Летурми в Туре. Еще до свадьбы своей любимицы г-жа де Верней, мудрая, как и все старые женщины, познавшие стремнины жизни, подарила ей Клошгурд, желая, чтобы у графини был свой очаг. С добротой пожилых людей, которая бывает безукоризненна, когда они действительно добры, герцогиня отдала ей все, оставив себе лишь маленькую комнатку над своей прежней спальней, которую теперь занимала графиня. Внезапная смерть г-жи де Верней омрачила медовый месяц четы Морсофов и наложила неизгладимую печать грусти на Клошгурд и на суеверную душу новобрачной. И все же первые дни пребывания в Турени были для графини единственными днями, когда за неимением счастья она впервые наслаждалась покоем.

После тягот жизни в чужих краях г-н де Морсоф с радостью увидел впереди более светлое будущее; для него как бы наступило нравственное исцеление; поселившись в прекрасной долине Эндра, он вдыхал пьянящий аромат расцветающей надежды. Чтобы поправить свои дела, он занялся сельским хозяйством и даже нашел в этом некоторое удовлетворение; но тут появился на свет Жак, и врач приговорил новорожденного к смерти; это горе было ударом грома среди ясного неба: оно разрушило и настоящее и будущее несчастного отца. Граф тщательно скрыл роковой приговор от жены; затем сам обратился за советом к врачу и получил страшный ответ, который был подтвержден впоследствии рождением Мадлены. Эти события и уверенность графа в правильности слов врача ухудшили болезненное состояние бывшего эмигранта. Итак, род Морсофов угаснет, молодая, чистая, безупречная женщина будет несчастна по его вине: дети принесут ей не радость материнства, а одно лишь страдание. Горечь минувшего, породившего новые муки, поднялась в душе графа и окончательно ожесточила его. Г-жа де Морсоф отгадала прошлое мужа, судя о нем по настоящему, и сумела заглянуть в будущее. Хотя нет ничего труднее, чем составить счастье человека, угне-

²³ *Сен-Мартен, прозванный «Неведомым философом»*. – Сен-Мартен Луи-Клод (1743–1803) – реакционный французский философ-мистик, находившийся под влиянием шведского философа-мистика Сведенборга.

²⁴ *Квакеры* – члены христианской секты, возникшей в Англии XVII века во время Английской буржуазной революции. Квакеры проповедовали строгий образ жизни, набожность, воздержанность, смирение.

тенного сознанием своей вины, графиня взялась за этот достойный ангела подвиг. Ей пришлось научиться стоической твердости. Спустившись в бездну, откуда был виден, однако, клочок голубого неба, она посвятила себя служению одному человеку, так же, как сестра милосердия посвящает себя служению всем страждущим, и, желая помирить мужа с самим собой, простила ему то, чего он не мог себе простить. Он был скуп – она согласилась на любые лишения; он был подозрителен, как все, кто вынес из светской жизни лишь чувство омерзения, – она стала жить уединенно, безропотно снося недоверие супруга; она прибегала к женской хитрости, чтобы направить его на путь добра, и внушала графу мысли, которые он принимал за свои, наслаждаясь в семейном кругу превосходством, недоступным ему в обществе. Затем, после нескольких лет замужества, она решила никогда не выезжать из Клошгурда, считая, что истерические вспышки мужа неизбежно вызовут пересуды и насмешки, вредные для воспитания детей. Она опустила такую плотную завесу на свою неудавшуюся жизнь, что никто не мог заподозрить подлинного ничтожества г-на де Морсофа. У графа был изменчивый и скорее раздражительный, чем злобный характер, но этот себялюбец нашел подле жены благоприятную почву, ибо его скрытые страдания облегчил наконец бальзам утешения.

Вот краткий пересказ того, что мне поведал г-н де Шессель в порыве невольной досады. Знание света помогло ему приподнять покров тайны, погребенной в Клошгурде. Но если благородное поведение г-жи де Морсоф и обмануло свет, ничто не могло обмануть всевидящего ока любви. Я уже лег спать в своей маленькой комнатке, как вдруг меня озарила догадка о муках графини; я вскочил с постели, оделся, крадучись спустился по винтовой лестнице башенки и вышел на улицу через боковую дверь: мне невыносима была мысль, что я нахожусь во Фрапеле, вместо того чтобы смотреть на окна ее спальни. Холод ночи успокоил меня. Я перешел через Эндр по мосту возле Красной мельницы и, прыгнув в лодку графа, по счастью, привязанную у берега, доплыл до Клошгурда, где в последнем окошке со стороны Азе еще виднелся свет. Тут я погрузился в свои прежние мечты, но более спокойные, прерываемые трелями певца любовных ночей и звонкой однообразной мелодией «болотного соловья». Мысли проносились в моей голове, скользя, как привидения, и увлекая с собой траурный покров, который окутывал до сих пор мое будущее. И душа моя и чувства были равно очарованы. С каким пылом я всем существом устремлялся к ней! Сколько раз, как безумный, спрашивал себя: «Неужели она будет моей?» Если в предыдущие дни мир в моих глазах преобразился, то за одну ночь в нем появился центр. Все мои желания, все честолюбивые замыслы сосредоточились на ней, я хотел быть всем для этой женщины, чтобы возродить и заполнить ее истерзанное сердце. Как хороша была ночь, которую я провел под ее окнами, внемля журчанию воды у мельничной плотины и бою часов на колокольне Саше! В эту лучезарную ночь моя неземная лилия озарила всю мою жизнь; я отдал ей душу с беззаветной преданностью несчастного кастильского рыцаря, над которым мы смеемся, читая Сервантеса, но разве мы испытываем не то же самое, когда в нас пробуждается любовь? При первом проблеске зари, при первом крике птицы я укрылся в парке Фрапеля; ни один крестьянин не заметил меня, никто не заподозрил моего отсутствия, и, вернувшись домой, я спокойно проспал до той минуты, когда зазвонил колокол, призывая к завтраку обитателей замка. Выдав себя за страстного любителя природы, я, несмотря на жару, спустился после завтрака в долину, якобы для того, чтобы вновь обойти берега и острова Эндра, луга и холмы; на самом деле я с быстротой вырвавшегося на свободу оленя очутился в той же лодке и в один миг доплыл до Клошгурда и до милых моему сердцу ив. Кругом царил трепетная тишина, какая бывает в полдень в деревне. Неподвижная листва деревьев отчетливо выступала на фоне голубого неба; зеленые стрекозы и золотистые мухи вились вокруг деревьев и зарослей камыша; коровы мирно жевали жвачку в тени, красноватая земля виноградников пылала на припеке, и ужи бесшумно скользили по склону холма.

Как изменился пейзаж, который был так свеж, так ярок ранним утром! Вдруг мне показалось, что я увидел графа; я мигом выскочил из лодки и стал взбираться по тропинке, огибающей Клошгурд. И действительно, он шел вдоль живой изгороди, собираясь, по-видимому, выйти на дорогу, выходящую по берегу реки.

– Как вы себя чувствуете сегодня утром, граф? – спросил я.

Лицо г-на де Морсофа просияло: очевидно, его не часто величали графом.

– Благодарю вас, хорошо, – ответил он, – но вы, верно, очень любите деревню, если гуляете по такой жаре?

– Как же иначе, граф? Ведь ради деревенского воздуха меня сюда и послали!

– Хотите взглянуть, как жнут рожь?

– С большим удовольствием. Признаться, я круглый невежда во всех этих вопросах. Я не умею отличить рожь от пшеницы и тополь от осины. Я ровно ничего не понимаю в земледелии и способах ведения хозяйства.

– Ну так идемте со мной! – сказал он с явным удовольствием. – Там, немного выше, есть калитка, войдите в нее.

Он вернулся назад вдоль внутренней стороны изгороди, в то время как я шел с ее внешней стороны.

– Вы ничему не научитесь у господина де Шесселя, – продолжал граф, – он слишком большой барин, чтобы заниматься хозяйством, его дело лишь оплачивать счета управляющего.

Г-н де Морсоф показал мне свои дворы и постройки, свои сады и огороды. Наконец он привел меня в длинную аллею, обсаженную акациями и лаковыми деревьями, которая шла над рекой, и я увидел в дальнем ее конце г-жу де Морсоф; она сидела на скамье вместе с детьми. Как хороша бывает женщина под сенью мелкой, словно ажурной листвы! Быть может, графиня и была удивлена наивной поспешностью моего визита, но она не показала этого и спокойно ждала, пока мы подойдем к ней. Г-н де Морсоф обратил мое внимание на панораму долины, казавшейся совсем иной, чем та, которую мы видели по пути в Клошгурд. Отсюда она напоминала уголок Швейцарии. Прочерченная ручьями, впадающими в Эндр, долина сливалась с далеким горизонтом, теряясь в голубоватой дымке. По бокам ее тянулись скалистые холмы, покрытые рощами, а в стороне Монбазона глаз видел широкое зеленое поле. Мы ускорили шаг, подходя к г-же де Морсоф, но в эту минуту она выронила книгу, которую читала вместе с Мадленой, и подхватила на руки Жака, так как мальчик судорожно закашлялся.

– В чем дело? Что случилось? – вскричал граф, сильно побледнев.

– У него болит горло, – ответила мать, не обращая на меня никакого внимания. – Не тревожьтесь, это пройдет.

Обняв сына, она поддерживала ему голову, а глаза ее, казалось, вливали жизнь в это несчастное, слабое создание.

– Вы поступаете удивительно неосторожно, – заметил граф желчно. – Здесь сыро и холодно от реки, а вы к тому же посадили Жака на каменную скамью.

– Но ведь скамья накалилась на солнце, папенька! – воскликнула Мадлена.

– Им было душно в комнатах, – проговорила графиня.

– Женщины вечно хотят поставить на своем! – проворчал граф, обращаясь ко мне.

Не желая ни поддержать, ни осудить его взглядом, я перевел глаза на Жака, который жаловался на сильную боль в горле; матери пришлось унести его домой.

– Когда производят на свет таких слабых детей, надо хоть научиться ухаживать за ними! – крикнул он ей вслед.

Этот упрек был, конечно, глубоко несправедлив, но самолюбивому графу хотелось оправдать себя, во всем обвинив жену. Графиня быстро поднялась по откосу, затем она так

же стремительно вошла на крыльцо и скрылась в доме. Г-н де Морсоф сел на скамью и в задумчивости поник головой; мое положение становилось невыносимым; он молчал и даже не смотрел на меня. Ну что ж, придется отказаться от прогулки, во время которой я рассчитывал завоевать его расположение! Не припомню, чтобы мне случалось проводить более тягостные минуты. Пот градом катился по моему лицу, и в нерешительности я спрашивал себя: «Что делать? Остаться? Уйти?» Как тяжело, по-видимому, было на душе у г-на де Морсофа, если он даже не пошел узнать, как чувствует себя Жак! Но вот он порывисто встал и подошел ко мне. Мы обернулись, чтобы еще раз взглянуть на живописную долину.

– Давайте отложим до другого раза нашу прогулку, граф, – мягко сказал я ему.

– Нет, идемте, – возразил он. – К сожалению, я привык видеть такие припадки, хотя, не задумываясь, отдал бы свою жизнь за жизнь несчастного ребенка.

– Жаку лучше, мой друг, он уснул, – послышался серебристый голос.

Г-жа де Морсоф неожиданно появилась в конце аллеи, и, когда она приблизилась к нам, я не заметил на ее лице ни обиды, ни досады.

– Я рада, что вам понравился Клошгурд, – сказала она, любезно ответив на мой поклон.

– Не съездить ли мне верхом за доктором Деландом, дорогая? – предложил граф, желая загладить свою вину.

– Не мучайте себя понапрасну, – ответила она, – все дело в том, что Жак плохо спал ночью. Вы знаете, какой это нервный ребенок: он увидел дурной сон, и мне пришлось без конца рассказывать сказки, иначе он никак не мог заснуть. Припадок чисто нервный. Жак успокоился и задремал, как только я дала ему леденец от кашля.

– Бедная моя! – проговорил он, сжимая руку жены и смотря на нее полными слез глазами. – А я даже не знал этого.

– К чему было беспокоить вас из-за пустяков? А теперь ступайте в поле и присмотрите за уборкой хлеба. Иначе фермеры пустят сборщиков колосьев прежде, чем будут свезены все снопы.

– Я приступаю к изучению сельского хозяйства, – заметил я.

– Вы находитесь в прекрасных руках, – ответила она, указывая на графа, который самодовольно улыбнулся, или, как говорят в просторечии, «сложил губы сердечком».

Только два месяца спустя я узнал, какую ужасную ночь она провела, опасаясь, что у Жака круп. А я-то сидел в лодке, баюкая себя любовными мечтами, и воображал, будто она заметит из своего окна, с каким благоговением я созерцаю отблеск ее свечи, которая озаряла тогда лицо матери, снедаемой смертельной тревогой! Ведь в Туре свирепствовала эпидемия крупы.

Подойдя к калитке, граф сказал растроганно:

– Моя жена просто ангел!

Эти слова сразили меня. Я еще мало знал Морсофов, и раскаяние, столь естественное в юности, охватило мою душу. «По какому праву хочешь ты нарушить согласие этого семейства?» – думал я.

Граф, довольный тем, что нашел собеседника моложе себя, над которым нетрудно будет взять верх, заговорил со мной о возвращении Бурбонов и о будущем Франции. Во время нашей непринужденной беседы я услышал от него поистине ребяческие суждения, очень меня удивившие. Он не знал самых простых вещей, боялся образованных людей, отрицал авторитеты и смеялся над прогрессом, впрочем, быть может, не без основания; в конце концов я обнаружил у г-на де Морсофа столько слабостей, что всякий разговор с ним утомлял, как головоломка, ибо приходилось проявлять крайнюю осторожность, чтобы не обидеть собеседника. Прощупав, если так можно выразиться, его недостатки, я приложил не меньше усилий, чем графиня, чтобы примениться к ним. Будь я постарше, я, несомненно, раздражал бы его. Но я был робок, как дитя, не доверял себе, считая, что старшим известно все

на свете, и был искренне поражен чудесами, которых добился в Клошгурде этот рачительный землевладелец. Я с восхищением выслушивал планы его преобразований. Наконец, и то была невольная лесть, снискавшая мне благосклонность пожилого дворянина, я от души расхваливал его красивое поместье, любовался местоположением Клошгурда и ставил этот земной рай несравненно выше Фрапеля.

– Фрапель, – сказал я графу, – похож на массивный памятник, а Клошгурд – на драгоценную безделушку.

Это изречение граф часто повторял впоследствии, ссылаясь на меня.

– А ведь знаете, до нашего переезда Клошгурд был в полном запустении! – заметил он.

Я весь превращался в слух, когда он говорил о своих посевах и питомниках. Как новичок во всем, что касалось деревенской жизни, я засыпал его вопросами о ценах на продукты, о способах ведения хозяйства, а он, по-видимому, был рад, что может сообщить мне эти подробности.

– Чему только вас учат в школе! – восклицал он иногда с удивлением.

В этот день, по возвращении домой, граф сказал жене:

– Господин Феликс превосходный молодой человек!

Вечером я написал матери, прося ее прислать мне белье и платье, ибо я намерен некоторое время погостить во Фрапеле. Ничего не зная о крупных переменах, происходивших тогда в политической жизни страны, и не предвидя их влияния на мою дальнейшую судьбу, я собирался вернуться осенью в Париж, чтобы окончить курс юридических наук, а так как занятия начинались в первых числах ноября, у меня еще было два с половиной месяца свободы.

В начале своего пребывания в деревне я постарался сблизиться с графом, и то была для меня пора тяжких испытаний. Я открыл в этом человеке беспричинную раздражительность и крайнюю взбалмошность – черты характера, испугавшие меня. Но иногда в нем неожиданно оживало мужество воина, отличившегося в рядах армии принца Конде, проявлялась воля, которая в критическую минуту может нарушить ход истории с внезапностью взорвавшейся бомбы и превратить дворянина, обреченного прозябать в своем поместье, в вождя восставших, вроде Эльбея, Боншана или Шаретта²⁵, если, конечно, он наделен при этом смелостью и энергией. Высказывая какую-нибудь мысль, граф становился вдруг неузнаваем: он сжимал губы, чело его прояснялось, взор метал молнии, но вскоре опять угасал. Порой я боялся, что, прочтя выражение моих глаз, г-н де Морсоф убьет меня на месте. Я был в ту пору на редкость уязвим. Воля, которая так удивительно преображает людей, еще только выковывалась во мне. Из-за чрезмерной силы желаний у меня бывали вспышки болезненной чувствительности, похожие на приступы страха. Борьба не страшила меня, но я не хотел умереть, не изведав счастья взаимной любви. И препятствия и моя любовь возрастали одновременно. Я был охвачен мучительной тревогой. Как признаться ей в своих чувствах? Я ждал случая, наблюдал, сближался с детьми, и они привязались ко мне, пытался стать своим человеком в доме. Мало-помалу граф перестал сдерживаться в моем присутствии. Я стал свидетелем беспрестанных перемен в его настроении, глубокого и беспричинного уныния, безрассудной вспыльчивости, горьких сетований, холодной злобы, резких выходов, детского лепета, старческого брюзжания и неожиданных порывов гнева. Нравственная природа человека отличается от его физической природы тем, что в ней нет ничего абсолютного: поступки находятся в прямой зависимости от характеров или от идей, возникающих при виде какого-нибудь явления. Мое пребывание в Клошгурде, все мое будущее зависело от взбалмошного характера г-на де Морсофа. Не умею вам описать, какое беспокойство томило мою душу,

²⁵ ...вроде Эльбея, Боншана или Шаретта. – Речь идет о главарях контрреволюционного вандейского восстания во время Французской буржуазной революции конца XVIII века.

которая в ту пору столь же легко расцветала от радости, как и сжималась от горя, когда я переступал порог этого дома, говоря себе: «Как-то граф примет меня сегодня?» Какая тоска ложилась мне на сердце, когда я замечал на его бледном лице признаки приближающейся грозы! Мне вечно приходилось быть настороже. Итак, я подпал под деспотическую власть этого человека. Мои муки помогли мне понять терзания г-жи де Морсоф. Скоро мы стали обмениваться понимающими взглядами, и порой мои глаза увлажнялись, в то время как ей удавалось сдерживать свои слезы. Таким образом, мы познали друг друга в несчастье. Сколько открытий я сделал за первые сорок дней знакомства, исполненных подлинной горечи, тайных радостей и то возрождающейся, то гибнущей надежды! Однажды я застал г-жу де Морсоф в глубокой задумчивости, она смотрела на солнечный закат, под лучами которого сладострастно пламенели вершины холмов и широкие тени ложились на мягкую, как ложе, равнину; вечер был так прекрасен, что нельзя было не внимать извечной Песне Песней, которой природа склоняет людские сердца к любви. Возрождались ли в душе графини бывшие девичьи грезы? Или же она по-женски страдала, сравнивая их с действительностью? Мне показалось, что ее поза говорит об истоме, благоприятствующей признанию, и я заметил:

– В жизни бывают тяжелые минуты.

– Вы прочли мои сокровенные мысли. Как вам это удалось?

– Ведь у нас с вами так много общего! – ответил я. – Разве мы не принадлежим к тем избранным натурам, которые умеют страдать и радоваться сильнее других? Все сердечные струны звучат у нас в унисон, вызывая могучий внутренний отклик, а наша духовная природа находится в неизменной гармонии с первоисточником всего сущего. Поместите таких людей, как мы, в среду, где все противоречиво, нестройно, и они будут тяжело страдать, но зато испытают восторженную радость, встретив родственные мысли и чувства или близкого по духу человека. Однако нам знакомо и другое несчастье, свойственное лишь болезненно чутким людям, которые при встрече невольно узнают друг друга. Случается, что нас не затрагивает ни хорошее, ни плохое. Наш внутренний мир бывает похож тогда на чудесный орган, но он играет сам по себе, без органиста; мы пылаем беспредметной страстью, вместо мелодии издаем нестройные звуки и стонем, хоть наши стоны и не находят отклика: страшное противоречие души, восстающей против пустоты небытия, изнурительная внутренняя борьба, во время которой бесцельно уходят наши силы, словно кровь, вытекающая капля за каплей из неведомой раны. Чувства расходуются впустую, вызывая гнетущую слабость, неизъяснимую тоску, которая не находит утешения даже в исповеди. Разве я неправильно описал наши общие страдания?

Она вздрогнула и, не отрывая глаз от заката, спросила:

– Вы так молоды, откуда вы знаете все это? Разве вам приходилось заглядывать в женскую душу?

– Мое детство прошло в непрерывных страданиях, – ответил я взволнованно.

– Кажется, Мадлена кашляет, – проговорила она, поспешно удаляясь.

Графиня не порицала меня за частые посещения. Во-первых, она была чиста, как дитя, и все дурное было ей чуждо. Во-вторых, я развлекал графа, служа забавой для этого льва без когтей и гривы. В-третьих, я нашел правдоподобный предлог для своих посещений. Я не умел играть в триктрак, и г-н де Морсоф взялся меня обучать. Когда я принял его предложение, графиня посмотрела на меня с состраданием, словно говоря: «Несчастный, вы сами кладете голову в волчью пасть». Сначала я не понял этого немого предостережения, но уже на третий день мне стало ясно, за какое трудное дело я взялся. Неизменное терпение, которым я обязан своему тяжелому детству, закалилось во время этих новых испытаний. Графу доставляло удовольствие жестоко высмеивать меня всякий раз, как я забывал правила игры, которые он успел мне объяснить; если я размышлял, он жаловался, что скучает из-за моей медлительности; если спешил, он сердился, говоря, будто я тороплю его; если проявлял себя

как способный ученик, он сетовал, что я обгоняю его, а сам перенимал у меня некоторые приемы игры. Я стал жертвой мелочной тирании, жестокого деспотизма, о котором могут дать представление несчастья Эпиктета²⁶, оказавшегося во власти злого ребенка. Когда мы стали играть на деньги, граф постоянно был в выигрыше, что доставляло ему мелочную, недостойную радость. Но достаточно было одного слова г-жи де Морсоф, чтобы принести мне утешение, а ему напомнить об учтивости и приличиях. Вскоре на меня свалилась новая беда. Игра унесла мои последние деньги. Хотя граф неизменно находился между женой и мной (как бы поздно я у них ни засиживался), я не терял надежды завоевать сердце г-жи де Морсоф; но чтобы приблизить эту минуту, ожидаемую с мучительным терпением охотника, следовало продолжать несносные партии в триктрак, которые больно ранили мое самолюбие и опустошали кошелек. Сколько раз мы сидели с ней рядом, молча любуясь пятнами солнечного света на лугу, плывущими по небу облаками, холмами, одетыми туманом, или игрой лунного света на сверкающей поверхности реки, и лишь изредка обменивались восклицаниями:

- Как хороша ночь!
- Она прекрасна, как женщина, сударыня.
- Какой покой вокруг!
- Да, здесь нельзя быть по-настоящему несчастным.

Услышав эти слова, она возвращалась к своему рукоделию. В конце концов я научился отгадывать, как волнуется кровь графини, властно требуя, чтобы она дала волю чувству. Без денег прощай мои вечера! Я написал матери, она выбрала меня в ответ, а денег прислала меньше, чем на неделю. У кого попросить займы? Ведь дело шло о моей жизни! Итак, в упоении своего первого большого счастья я вновь испытал те же невзгоды, что в Париже, в коллеже и пансионе; прежде я старался избежать их с помощью труда и воздержания, мое страдание было пассивным; во Фрапеле оно стало активным; я готов был совершить воровство, пуститься на преступление, и меня обуревали порывы ярости, которые я подавлял усилием воли, чтобы не потерять уважения к себе. Воспоминания об этих тягостных минутах и отчаяние, в которое повергла меня скупость матери, внушили мне милосердную снисходительность к проступкам молодых людей; это чувство будет понятно тем, кто не пал окончательно, хоть и дошел до края бездны, словно для того, чтобы измерить ее глубину. Правда, моя честность, вскормленная упорным трудом, укрепилась в эти минуты, которые открыли мне каменистую стезю жизни, но отныне я уже не мог спокойно смотреть, как грозное людское правосудие заносит меч над головой человека, и всякий раз говорил себе: «Уголовные законы созданы людьми, не ведавшими, что такое несчастье». Доведенный до крайности, я разыскал в библиотеке г-на де Шесселя руководство по игре в триктрак и принялся изучать его; мой любезный хозяин дал мне к тому же несколько уроков; так как он не придирался ко мне вроде г-на де Морсофа, я сделал быстрые успехи и стал применять выученные наизусть правила и расчеты. Через несколько дней я уже мог победить своего первого учителя; но едва я обыграл его, настроение графа резко изменилось: глаза засверкали, точно у тигра, лицо исказилось от злобы, а брови запрыгали так, как мне никогда не случалось видеть. Он стал жаловаться, словно избалованный ребенок. Порой он приходил в ярость, швырял кости, топал ногами, кусал рожок для триктрака и говорил мне грубости. Но я положил конец этому неистовству. Изучив все тонкости триктрака, я повел борьбу так, как мне того хотелось: я предоставлял графу выигрывать в начале партии, а под конец уравнивал наше положение и восстанавливал равновесие. Светопредставление меньше удивило бы г-на де Морсофа, чем явное превосходство доселе неспособного ученика; однако он ни разу не признал себя побежденным. Неизменная развязка игры лишь давала пищу его дурному настроению.

²⁶ *Эпиктет* (ок. 50 – ок. 138 н. э.) – греческий философ-стоик, был рабом, затем был отпущен на волю.

– Право же, – сетовал он, – моя бедная голова слишком устала. Вы вечно выигрываете в конце партии, когда я уже перестаю соображать.

Графиня, знавшая правила игры, с первого же раза поняла мою хитрость и увидела в ней бесспорное доказательство любви. Впрочем, эти подробности могут оценить лишь те, кому известны огромные трудности триктрака. Но как много сказал ее сердцу такой, казалось бы, пустяк! Ведь любовь, подобно богу в проповедях Боссюэ²⁷, ставит выше самых блестящих побед стакан воды, предложенный бедняком, или подвиг неизвестного солдата, погибшего на поле брани. Графиня отблагодарила меня взглядом, способным растопить юное сердце; она посмотрела на меня так, как смотрела до сих пор только на своих детей! Отныне она уже всегда дарила меня этим взглядом, разговаривая со мной. Не умею объяснить, что я чувствовал, уходя в этот счастливый вечер из Клошгурда. Мое тело словно растворилось, стало невесомым, я не шел, а летел. Я ощущал в себе этот взгляд, озаривший мою душу, а два коротких слова: «До завтра», звучали в моих ушах как пасхальный гимн «O filii, o filiae!»²⁸. Я возрождался к новой жизни. Итак, я что-то значил для г-жи де Морсоф! Я задремал, овеваемый горячим дыханием страсти. Языки пламени мелькали перед моими закрытыми глазами, как те красивые огненные змейки, что преследуют друг друга в камине, где догорают обуглившиеся листы бумаги. Во сне ее голос стал как бы осязаемым, окутал меня светозарной атмосферой, опьянил благоуханием, превратился в мелодию, ласкавшую мой слух. На следующий день при встрече она подтвердила полноту дарованных чувств, и я был посвящен отныне во все оттенки ее голоса. Этому дню суждено было стать одним из самых значительных в моей жизни. После обеда мы пошли гулять и спустились с вершины холма в ланды, где почва была камениста и бесплодна; лишь кое-где стояли одинокие дубы да рос кустарник, покрытый красными ягодами, а вместо травы расстился ковер сухого красновато-рыжего мха, рдевшего под лучами заходящего солнца. Так как идти было трудно, я вел Мадлену за руку, а г-жа де Морсоф поддерживала Жака. Граф, шедший впереди, вдруг ударил тростью о бесплодную землю и, обернувшись ко мне, сказал с озлоблением:

– Вот какова моя жизнь! – Затем, обратившись к жене, добавил в виде извинения: – Конечно, так было до знакомства с вами.

Оговорка была сделана слишком поздно, графиня побледнела. Всякая женщина содрогнулась бы, получив такой удар!

– Какой ароматный здесь воздух! – воскликнул я. – Какое великолепное освещение! Я желал бы, чтобы эти ланды принадлежали мне, быть может, я нашел бы несметные сокровища в их недрах; но ценнейшим подарком было бы соседство с вами. Чего бы я не дал за этот вид, ведь он так и ласкает взор, и за эту живописную речку, затененную зеленью ольхи и ясеня, здесь просто отдыхаешь душой! Как различны наши вкусы! Для вас этот уголок всего лишь пустошь, а для меня рай земной.

Она поблагодарила меня взглядом.

– Идиллия! – заметил он с горечью. – Здесь не место для человека с вашим именем.

Затем добавил, помолчав:

– Что это, набат? Я явственно слышу, как звонят колокола в Азе.

Г-жа де Морсоф испуганно взглянула на меня, Мадлена сжала мою руку.

– Не хотите ли вернуться домой и сыграть партию в триктрак? – предложил я графу. – Стук игральных костей заглушит звон колоколов.

Мы отправились в обратный путь, ведя многословный, но пустой разговор. Граф жаловался на недомогание, хоть и не говорил, в чем оно состоит. Когда мы очутились в гостиной,

²⁷ Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) – французский епископ и придворный проповедник, автор сочинений на богословские темы. Здесь имеется в виду место из «Надгробного слова принцу Конде», в котором Боссюэ говорит, что стакан воды, поданный жаждущему, ценнее для бога, чем все победы завоевателя.

²⁸ О сыновьях, о дочери! (лат.)

наступили особенно тягостные минуты. Г-н де Морсоф сидел в глубоком кресле, чуждый всему окружающему, и жена не решалась вывести его из задумчивости: она знала симптомы болезни и умела предотвращать ее приступы. Я молчал, как и она. Если г-жа де Морсоф не попросила меня уйти, то, очевидно, считала, что партия в триктрак может развлечь мужа и умерить раздражительность больного, взрывы которой убивали ее. Но не так-то легко было склонить г-на де Морсофа на партию в триктрак, сыграть которую ему всегда очень хотелось. Подобно светской жеманнице, он желал, чтобы его упрашивали, уговаривали, боясь почувствовать себя обязанным партнеру, очевидно, потому, что действительно был ему обязан. Если, увлеченный интересным разговором, я забывал об этих уловках, он становился угрюм, желчен, резок, раздражался по всякому поводу и всем противоречил. Видя его дурное настроение, я предлагал ему сразиться в триктрак; тогда он начинал ломаться:

– Сейчас уже поздно, да и вообще мне что-то не хочется.

Словом, его фокусам не было конца, как у женщин, которые порой настолько сбивают нас с толку, что мы перестаем понимать, каковы же их истинные желания. Я унижался, прося дать мне возможность поупражняться в этой игре, чтобы не забыть ее правил. На этот раз мне пришлось притворяться беспечно-веселым, чтобы он согласился сыграть со мной хотя бы одну партию. Он жаловался на головокружение, которое мешает ему соображать, говорил, что голова у него словно в тисках, в ушах звенит, что он задыхается, и действительно дышал с трудом. Наконец, он согласился сесть за игорный стол. Г-жа де Морсоф ушла, чтобы уложить детей и прочесть вместе со слугами вечерние молитвы. В ее отсутствие все шло хорошо; я повел дело так, что г-н де Морсоф оказался в выигрыше, и это сразу развеселило его. Внезапный переход от уныния и мрачных мыслей о своей судьбе к безудержной веселости и беспричинному смеху, похожему на смех пьяного человека, встревожил и испугал меня. Я никогда еще не видел у него такого явного припадка безумия. Наше близкое знакомство принесло свои плоды: он перестал стесняться в моем присутствии. Более того, он с каждым днем пытался укрепить свою тираническую власть надо мной, превратить меня в козла отпущения; поистине душевные болезни подобны живым существам: они обладают особыми запросами, особыми инстинктами и желают расширить свое владычество, как помещик желает расширить свои владения. Графиня вернулась в гостиную и села вышивать у игорного стола якобы потому, что там было светлее, но этот предлог плохо скрывал ее опасения. Неверный ход, которому я не в состоянии был помешать, дурно повлиял на графа, он изменился в лице: из веселого оно стало мрачным, из ярко-красного – желтым, глаза его дико забежали. Затем случилось несчастье, которого я не мог ни предвидеть, ни предупредить: г-н де Морсоф сделал еще одну ошибку, принесшую ему поражение. Он мигом вскочил на ноги, опрокинул на меня стол, швырнул лампу на пол, ударил кулаком по камину и стал метаться, именно метаться, по гостиной. Потоки брани, проклятий, воплей, бессвязных слов вырывались из его уст, словно передо мной был средневековый бесноватый. Судите сами о моем положении!

– Ступайте в сад, – сказала графиня, сжав мою руку.

Я вышел, причем граф даже не заметил моего исчезновения. Медленным шагом я отправился на террасу, где до меня доносились из спальни, смежной со столовой, громкие крики и стоны. А временами сквозь эту бурю я слышал ангельский голос, звучавший, как пение соловья во время затихающей грозы. Я прогуливался под акациями в прекраснейшую из ночей, какие бывают в конце августа, и ждал. Графиня должна была прийти, она как бы обещала это, пожав мне руку.

Уже несколько дней чувствовалось, что между нами назрело объяснение и что при первом же произнесенном слове в наших душах ключом забьют переполнявшие их чувства. Что за странная стыдливость заставляла нас откладывать минуту полного сердечного согласия! Быть может, графине нравился, как и мне, этот трепет, похожий на страх, от которого

все замирает внутри; нравились эти мгновения, когда сама жизнь, кажется, готова выйти из берегов, когда хочешь и не решаешься открыть свое самое заветное, повинувшись целомудренной гордости, мешающей юной девушке показать себя взору любимого супруга. Мы сами своими бесконечными размышлениями воздвигли преграду перед этим первым признанием, но теперь оно стало необходимым. Прошел час. Я сидел на каменной балюстраде террасы; вдруг среди вечерней тишины раздался звук ее шагов и шелест развевающегося платья. Да, человеческое сердце не может вместить порой бушевающих его чувств!

– Господин де Морсоф заснул, – сказала она. – В таких случаях я даю ему выпить настой маковых головок; припадки случаются довольно редко, и это простое средство всегда хорошо действует на него. Сударь, – продолжала она, меняя тон, причем голос ее зазвучал особенно убедительно, – несчастная случайность открыла вам тайну, которую я до сих пор тщательно скрывала, обещайте же мне сохранить в глубине сердца воспоминание об этой прискорбной сцене. Сделайте это для меня, прошу вас, Я не требую от вас клятвы, ведь вы честный человек, скажите только «да», и я буду спокойна.

– Неужели мне нужно произнести это «да»? – спросил я. – Разве мы не научились понимать друг друга?

– Не судите дурно о господине де Морсофе: все это – следствие долгих страданий на чужбине, – продолжала она. – Завтра он не вспомнит ни одного из сказанных слов и снова будет с вами мил и приветлив.

– Не старайтесь оправдать графа, сударыня, я сделаю все, что вы пожелаете. Я, не задумываясь, бросился бы в Эндр, если бы это могло вернуть здоровье господину де Морсофу и внести счастливую перемену в вашу жизнь. Но одного я не в силах сделать – это изменить свое мнение: оно слишком укоренилось во мне. Я готов пожертвовать ради вас жизнью, но совестью пожертвовать не могу; голоса совести можно не слушать, но как помешать ей говорить? Мое же мнение о господине де Морсофе...

– Понимаю, – сказала она, прерывая меня с несвойственной ей резкостью. – Вы, конечно, правы. Граф нервен, как избалованная женщина, – продолжала она, пытаясь избежать слова «безумие», готового сорваться у нее с языка, – но такие припадки случаются с ним не чаще раза в год, во время сильной жары. Сколько зла принесла эмиграция! Сколько загублено жизнью, прекрасных надежд! Сложись все иначе, граф был бы, я убеждена в этом, крупным полководцем, гордостью своей страны.

– Согласен с вами, – в свою очередь, прервал я ее, давая понять, что обманывать меня бесполезно.

Она приложила руку ко лбу и умолкла.

– Кто ввел вас в нашу жизнь? Уж не хочет ли Бог поддержать меня, посылая мне помощь, живое, дружеское участие? – вновь заговорила она, с силой сжимая мою руку. – Как вы добры, великодушны!..

Она подняла глаза к небу, словно ища там подтверждения своих тайных надежд, и перевела их затем на меня. Завороженный этим взглядом, чувствуя, что наши души сливаются воедино, я совершил неловкость с точки зрения светских приличий. Но ведь такие поступки бывают вызваны порой великодушным стремлением побороть опасность или предотвратить удар, боязнью грозящего несчастья, а чаще всего желанием найти немедленный отклик в другом сердце, узнать, звучит ли оно в унисон с вашим. На меня как бы нашло озарение, и я понял, что необходимо смыть пятно, порочащее мою чистоту в ту минуту, когда я должен был приобщиться к таинству любви.

– Прежде чем продолжать разговор, – сказал я изменившимся голосом, ибо сердце мое так стучало в груди, что его удары были слышны в окружавшей нас глубокой тишине, – позвольте мне оправдаться перед вами за прошлое.

– Молчите! – с живостью проговорила она, прижимая пальчик к моим губам, но тотчас же отдернула руку.

Она гордо взглянула на меня, как женщина, которая стоит слишком высоко, чтобы ее могло коснуться оскорбление, и сказала взволнованно:

– Я знаю, что вы имеете в виду. Речь идет о первом, о последнем и единственном оскорблении, нанесенном мне. Никогда не вспоминайте об этом бале. Если христианка и простила вас, то женщина во мне еще страдает.

– Не будьте же более безжалостны, чем Господь Бог! – прошептал я, с трудом удерживая подступившие к горлу слезы.

– Я должна быть строже, ибо я слабее, – возразила она.

– Нет, выслушайте меня, – продолжал я с детской запальчивостью, – выслушайте, даже если это будет в первый, в последний и единственный раз в вашей жизни!

– Хорошо, говорите! Иначе вы можете подумать, что я боюсь ваших слов.

Чувствуя, что наступила неповторимая минута в нашей жизни, я сказал ей с юношеским пылом, невольно приковав ее внимание, что до сих пор все женщины были мне безразличны. Но увидев ее, я был охвачен, несмотря на мою робость и отшельническую жизнь, как бы приступом безумия – пусть судят меня те, кто не испытал подобного пожара, – и мое сердце заполнило чувство, побороть которое никому не дано, ибо оно может все превозмочь, даже смерть.

– А презрение? – спросила она, прерывая меня.

– Неужели вы презирали меня?

– Не будем говорить об этом.

– Нет, будем говорить об этом! – возразил я с горячностью, вызванной невыносимыми страданиями. – Дело идет о моем святая святых, о сокровенной стороне моей жизни, о тайне, которую вы должны узнать, иначе я умру от отчаяния! Дело идет также и о вас, разве вы не были, сами того не зная, прекрасной дамой, в чьих руках сверкает венок, обещанный победителю на турнире?

Я поведал ей о своих детских и отроческих годах, но иначе, чем вам, ибо теперь сужу о них на расстоянии, тогда же говорил о своих горестях жгучими словами юноши, чьи раны еще не перестали кровоточить. Мой голос раздавался, словно стук секиры в лесу, и от его звука, казалось, с грохотом падали пережитые годы, как голые деревья, листья которых так и не раскрылись, загубленные длительными морозами. Я лихорадочно припоминал множество страшных подробностей, от которых избавил вас. Я раскрыл перед ней сокровища своих блестящих надежд, чистое золото своих желаний, все свое сердце, ярко горевшее под ледяным покровом нескончаемой зимы. Когда, согбенный тяжестью воспоминаний, описанных с пламенным красноречием Исаяи, я умолк, ожидая, что скажет эта женщина, которая слушала меня, поникнув головой, она одним взглядом озарила мрак моей души, одним словом возродила мои земные и небесные мечты.

– У нас с вами было одинаково печальное детство! – промолвила она, подняв чело, и я узрел вокруг него ореол мученичества.

После минутного молчания, во время которого мысль: «Мы испытали одни и те же страдания» – соединила наши души, графиня рассказала мне нежным голосом, каким обращалась только к своим дорогим малюткам, о несчастьях своего детства: ее вина в глазах близких заключалась в том, что она родилась девочкой в ту пору, когда все сыновья в семье умерли. Она объяснила мне, что положение дочери, неотлучно живущей при матери, гораздо тяжелее положения мальчика, предоставленного самому себе в шумном мирке школьных товарищей. Мое одиночество было раем по сравнению с гнетом, тяготевшим над нею до тех пор, пока ее приемная мать, ее добрая тетюшка, не вырвала племянницу из этого ада с его постоянной мукой. Она терпела нескончаемые булавоочные уколы, столь тягостные для

чутких натур, которые предпочитают им удар кинжала или смерть от дамоклова меча: то строгий выговор, пресекавший великодушный порыв ребенка, то холодный взгляд в ответ на поцелуй, то приказ молчать, то упрек за вынужденное молчание, то обидные слова, камнем ложившиеся на сердце, ибо выплакать горе нельзя, и, наконец, когда мать посещала ее в монастырской школе, бесчисленные придирки под видом возвышенной родительской любви. Дочь льстила тщеславию матери, и она расхваливала ее при чужих, но на следующий день та дорого расплачивалась за эти похвалы, необходимые для торжества безжалостной воспитательницы. Когда же девочка полагала, что послушанием, кротостью тронула мать, и изливала ей свою душу, домашний тиран становился еще беспощаднее, вооружившись ее наивными признаниями. Шпион, и тот был бы менее подлым и вероломным. Редкие девичьи радости и развлечения дорого ей доставались; ведь ее бранили за минуту счастья, как за преступление! Уроки благовоспитанности, которые она получила, никогда не были ей преподаны с любовью, а лишь с оскорбительной иронией. Она не питала неприязни к матери и корила себя за то, что чувствует к ней не любовь, а страх. Быть может, эта строгость и была необходима, думала она со свойственной ей ангельской добротой, ибо суровое воспитание подготовило ее к тяготам жизни. Когда я слушал ее, мне казалось, что арфе Иова²⁹, из которой я исторгал такие резкие звуки, вторит другая арфа, вознося к небу нежные литании³⁰, подобные мольбам Богородицы у подножия креста.

— Мы жили в одной и той же сфере до того, как встретились здесь, — вы пришли с востока, я — с запада, — сказал я.

Она горестно покачала головой.

— Нет, восток не для меня, а для вас, — проговорила она. — Вы будете счастливы, я умру от горя! Мужчины сами распоряжаются своей жизнью, моя же судьба определена навек. Никакой силе не разорвать тяжелых цепей, к которым женщина прикована золотым кольцом — символом чистоты супруги.

Чувствуя себя моей сестрой по глубине страданий, она решила, что между близнецами, пившими воду из одного и того же источника, не должно быть недомолвок. С глубоким вздохом, идущим от чистого сердца, она открыла мне свои заветные мысли, рассказала о первых днях замужества, о первых разочарованиях, о «возрождении» своего злосчастья. Ей было ведомо, как и мне, что любая мелочь становится важной для избранных душ, ибо все содрогается в них от боли при малейшем ударе; так камень, брошенный в озеро, рождает волны и в глубине его и на поверхности. Еще девушкой у нее были сбережения — немного золота, воплощавшего радостные надежды, тысячи удовольствий молодости; выйдя замуж, она при первой же беде великодушно отдала супругу свое маленькое состояние, ни слова не говоря о том, что для нее это память, а не только золотые монеты; муж ни разу не вспомнил об этом даре с благодарностью: он не считал себя ее должником! В обмен на свои сокровища, погребенные в стоячих водах забвения, она не встретила того увлажненного слезою взгляда, который вознаграждает великодушных людей за все перенесенные муки и озаряет мрак отчаяния, подобно ярко сверкающему алмазу. Какой крестный путь она прошла! Г-н де Морсоф постоянно забывал давать деньги на хозяйство; когда же, победив свою женскую робость, она обращалась к нему за деньгами, он смотрел на нее недоуменным взглядом и ни разу не избавил жену от этого унижения! Какой ужас охватил ее в тот день, когда она постигла тяжелый недуг этого конченого человека! Она почувствовала себя сломленной после первого же приступа его дикого гнева. Сколько тяжких дум пришлось ей передумать, прежде чем она призналась самой себе в ничтожестве супруга, призванного быть властелином и руководителем жены! Какое горе принесли ей двукратные роды! Какой ужас обуял несчастную мать

²⁹ *Иов* — библейский персонаж, на которого по воле бога обрушивались неисчислимые страдания и несчастья.

³⁰ *Литании* — вид молитвы в католической службе, здесь причитания, жалобы.

при виде обоих младенцев, родившихся почти мертвыми! Сколько мужества потребовалось, чтобы сказать себе: «Я вдохну в них новую жизнь! Я каждый день буду рожать их заново!» И какое горе охватило ее, когда она встретила лишь помеху в лице мужа, сердце и рука которого должны служить женщине поддержкой. При каждой преодоленной трудности перед ней вновь расстилалась пустыня страдания, ей вновь приходилось идти по каменистым тропам. С вершины каждой скалы ее взору открывались далекие и безрадостные горизонты, пока она не поняла характера мужа, болезни детей и всей глубины своего несчастья; пока, по примеру новобранца, вырванного Наполеоном из лона семьи, она не приучила свои ноги ступать по грязи и снегу, не освоилась со свистящими над головой ядрами и не научилась безропотному повиновению солдата. Я передал вам в нескольких словах то, что она поведала мне сбивчиво и пространно, сопровождая свой рассказ описанием прискорбных случайностей, проигранных битв, бесплодных усилий.

– Словом, вам надо было бы провести здесь несколько месяцев, чтобы понять, сколько труда стоят мне преобразования Клошгурда, – сказала она в заключение, – сколько приходится уговаривать господина де Морсофа, чтобы он согласился действовать в своих же интересах! Как он по-детски злорадствует, когда подсказанные мною новшества не приносят сразу желаемых плодов! С каким восторгом приписывает себе малейшую удачу! Сколько мне нужно терпения, чтобы выслушивать его вечные упреки, тогда как я изо всех сил стараюсь употребить во благо его время, согреть воздух, которым он дышит, усыпать цветами жизненный путь, который он забросал камнями! А в награду я слышу лишь эту ужасную жалобу: «Жизнь мне в тягость, я хочу умереть!» Если, по счастью, у него бывают гости, все меняется: он становится приветлив, любезен. Почему он не таков в кругу своей семьи? Не могу объяснить этот недостаток благородства у человека, который порой ведет себя по-рыцарски. Он может, например, тайно от меня помчаться в Париж, чтобы купить какой-нибудь драгоценный убор, как он это сделал недавно накануне городского бала. Скупой на домашние расходы, он, не считая, тратит деньги на меня, стоит мне этого пожелать. Поступать же следовало бы наоборот: мне ничего не нужно, а его дом так трудно вести! Желая сделать его счастливым и не помышляя о том, что я буду матерью, я, быть может, приучила его видеть во мне свою жертву; а между тем с помощью хитрости и ласки я могла бы управлять им, как ребенком, но я не хочу унижаться, играя столь недостойную роль! Интересы семьи требуют, чтобы я была спокойна и строга, как статуя Справедливости, но ведь у меня тоже отзывчивая и нежная душа!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.